Леонид Губанов
«Меня ищут как редкий цветок…»
Сборник произведений с переводом на итальянский, французский, сербский и хорватский языки

Leonid Gubanov
«Mi cercano come un fiore raro...»
Raccolta di opere con traduzioni in italiano, francese, serbo e croato

Leonid Goubanov
«On me cherche comme une fleur rare…»
Oeuvres choisies, avec traductions en italien, français, serbe et croate

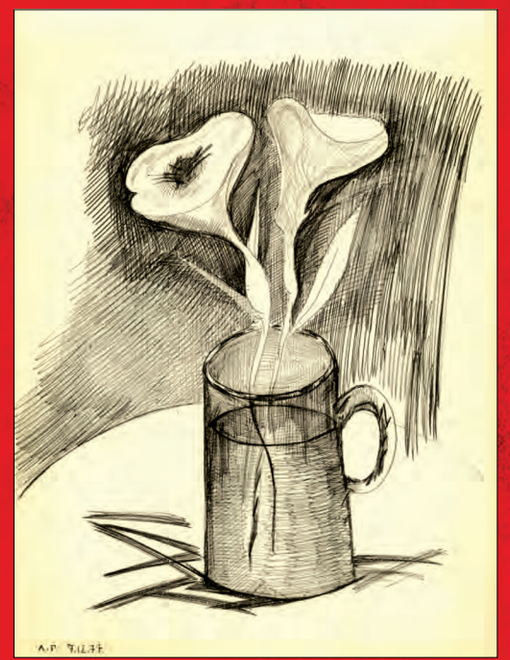
Леонид Губанов
«Траже ме као редак цвет...»
Збирка поезије с преводом на италијански, француски, српски и хрватски језик

Leonid Gubanov
«Traže me kao rijedak cvijet...»
Zbirka pjesama s prijevodom na talijanski, francuski, srpski i hrvatski jezik

Леонид Губанов «Меня ищут как редкий цветок...»

Леонид Губанов

Меня ищут как редкий цветок



Леонид Губанов

«Меня ищут как редкий цветок...»

Сборник произведений с переводом
на итальянский, французский,
сербский и хорватский языки

Москва
«Пробел-2000»
2018

УДК 821.161.1-1 Губанов
ББК 84(2Рос=Рус) 6-5
Г93

Издательство благодарит Ирину Губанову и Михаила Алшибая
за рисунки поэта, предоставленные для художественного оформления книги

Губанов, Леонид Георгиевич
Г93 «Меня ищут как редкий цветок...» : сборник произведений с переводом на итальянский, французский, сербский и хорватский языки / сост. и автор предисл. А. Журбин. – Москва : Пробел-2000, 2018. – 196 с. : ил., 6 л. цв. вкл.

ISBN 978-5-98604-694-5

Книга «Меня ищут как редкий цветок…» подготовлена к 35-летию трагического ухода Л. Г. Губанова. В неё вошли поэма «Полина», стихи поэта и их переводы на иностранные языки, выполненные за эти годы известными европейскими славистами. Издание представляет творчество Губанова как уникальное явление мировой поэзии, вырывающееся за пределы сугубо национальных границ. В России переводы губановской лирики публикуются впервые.

УДК 821.161.1-1 Губанов
ББК 84(2Рос=Рус) 6-5

© Губанов Д. Л., поэма, стихотворения, рисунки, 2018
© Журбин А. А., составление, предисловие, 2018
© Зейтунян-Белоус К., перевод, 2018
© Ичин К., перевод, 2018
© Лукшич И., перевод, 2018
© Маурицио М., перевод, 2018
© «Пробел-2000», 2018

ISBN 978-5-98604-694-5

ЗА ПЕРИМЕТРОМ ГРАНИЦ И ЯЗЫКА

Международная политическая панорама 1982 года охватывает затянувшуюся Ирано-Иракскую войну и Англо-Аргентинский конфликт вокруг Фолклендов, волнения в Польше и израильское вторжение в Ливан, окончательное освобождение Канады от колониальной зависимости. СССР вязнет в необъявленной Афганской войне. При бесспорных космических и спортивных достижениях всё очевиднее обозначается социально-экономический застой внутри страны, усиливается борьба с диссидентским движением. В это время, может быть самый яркий поэт поколения, гений андеграунда – Леонид Губанов, словно подводя итоги неоднократно предсказанной в стихах жизни, пишет:

Меня ищут как редкий цветок,
Но не в поле, а в биб-ли-о-теке,
Меж страниц, где прошёл холодок,
Итальянцы, французы и греки.[1]

Жить оставалось менее года. Неопубликованный архив в несколько тысяч произведений, и ни малейшей надежды напечатать всё это на родине. Но что удивительно, в приведённой строфе почти точно угадана география будущих переводов. Италия, Франция и страны Балканского полуострова. Именно здесь впоследствии особенно плодотворно будут переводить Губанова.

Озаглавленная поэтической строкой книга и была составлена в соответствии с художественным пророчеством поэта. Мы не стремились собрать под одной обложкой ВСЕ ныне известные переводы губановской лирики (сведения о большинстве из них можно найти в прилагаемой к изданию библиографии). Помимо оригинальных произведений на русском языке в сборник вошли переводческие работы Массимо Маурицио из Турина, Кристины Зейтунян-Белоус из Парижа, Корнелии Ичин из Белграда и Ирены Лукшич из Дуга-Ресы. В оформлении книги использованы рисунки поэта, фотографии обложек зарубежных журналов и антологий, публиковавших его стихи.

* * *

О Леониде Георгиевиче Губанове (1946-1983) распространено мнение как об исключительно национальном, «неэкспортном» литераторе. Поэте не аналитического начала, но небесного вдохновения, этаком гениальном

[1] Здесь и далее цитаты из произведений Л. Губанова выделены курсивом.

«левше»-самоучке. Сказались на биографической легенде буйный темперамент и образ жизни поэта-нонконформиста, абсолютно не вписанного в официальный социокультурный контекст.

Родился будущий поэт в первый год «холодной войны» в семье авиаконструктора и служащей МВД. Сменив несколько среднестатистических школ, в итоге не окончил девятилетки. Однако его знание литературы – главной идеологической дисциплины – явно выходило за рамки общешкольного стандарта. Ещё в годы учёбы он выше всех ставил Пушкина, «*зачитал до дыр на подлокотниках*» Лермонтова, Есенина «*боготворил с 14 лет*», считал гениальным раннего Маяковского. Не ограничивалась программными стихами шотландского акцизного (пославшего пушки революционному Конвенту) и английского лорда (вставшего на защиту луддитов) осведомлённость в области мировой поэзии[1]. Губанов занимается в литературном кружке при столичном Дворце пионеров. Там под руководством Кудряшовой Веры Ивановны ребята разбирают восточную и европейскую поэзию – сравнивают образ цветка в лирике Теннисона и в хайку Басё, анализируют абсурдные стихи Кэрролла. Особое впечатление на Губанова производят французы.

Через какое-то время он начинает посещать также литстудию библиотеки № 66. Педагог-энтузиаст Мария Марковна Шур в неформальной обстановке открывает на ней школьникам и студентам имена полузапрещённых Хлебникова, Мандельштама, Цветаевой, Клюева, Гумилёва... Ошеломляюще переплетаются разноязыкие культуры разных эпох. Верлен Пастернака и Ариадны Эфрон, «Озарения» шарлевильского гения в сологубовском и бодлерово «Плаванье» в цветаевском переводах, «виллоновский» миф в изложении Мандельштама. Удивительным образом второгодник Лёня осваивает новую поэтику, стилистику, выходящую за рамки строго логических построений соцреализма, словообразование на уровне камлания. Небывалый взлёт советского поэтического перевода в 1960-е гг., возвращение на печатные страницы поэзии Серебряного века и недолгая (пусть даже довольно разрежённая) атмосфера свободы в хрущёвское десятилетие предопределили появление уникального таланта. И вскоре после строк: «*Я сплю рассеянным Есениным, / всю Русь сложив себе под голову*» появляется:

Бог велел – был Верлен,
Бог болел – был Бодлер.
Бах настал – бух любой.
Я в кострах, как Рембо.

[1] Факты биографий Р. Бёрнса и Дж. Г. Байрона, отражённые во втором издании Большой советской энциклопедии.

Что это, будетлянская заумь? Аллюзия на ссыльно-воронежское: «около Кольцова / Как сокол, закольцован»? Пережитки церковного мракобесия в атеистическом государстве? Или пубертатный бред (на всякий случай, обеспокоенные родители показали сына врачам)? Бодлера переводил ещё в девятнадцатом веке революционер-народник, Рембо побывал (по собственному признанию) на баррикадах Коммуны. А вот в Верлене и его последователях ещё Максим Горький проницательно разглядел: «с обыденной точки зрения, смешных людей с большими претензиями; с точки зрения врача-психиатра – людей психически больных; с точки зрения социолога – анархистов в области не только искусства, но и морали; со всех трёх точек зрения <…> – явление вредное, антиобщественное, – явление, с которым необходимо бороться»[1].

И вот к исходу «оттепели», когда поэтами-эстрадниками разобраны «звёздные билеты», Губанову достаётся «волчий билет»! Он исключён за прогулы и неуспеваемость из школы рабочей молодёжи, поставлен на учёт в психоневрологическом диспансере. Редколлегия «Юности» нещадно режет губановскую «Полину» – в итоге из 167 строк поэмы в журнале публикуют лишь три четверостишия:

Холст 37 на 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем

Когда изжогой мучит дело,
Нас тянут краски тёплой плотью.
Уходим в ночь от жён и денег
На полнолуние полотен.

Да, мазать мир! Да, кровью вен!
Забыв болезни, сны, обеты!
И умирать из века в век
На голубых руках мольберта[2].

Вырванные из контекста «37» в них не год начала массовых репрессий, а возраст великих поэтов: Бёрнса, Пушкина, Рембо, Хлебникова… Губанов был убеждён, что истинные гении дольше не живут – это, вместе с уходами от жён и безденежьем, он напророчил и себе. Что же касается

[1] Горький, М. Поль Верлен и декаденты // Собрание сочинений в 16 т. – М. : Правда, 1979. – Т. 16 : Очерки, литературные портреты, статьи. – С. 182.

[2] Губанов, Л. Художник : [отрывок из поэмы «Полина»] // Юность. – 1964. - № 6. – С. 68.

смерти «не от рака» – напрашивается параллель с затравленным Пастернаком. И на 12 откровенных строк выходит дюжина злобных отзывов в центральных изданиях страны. О такой рекламе не могли мечтать даже футуристы!..

Ещё не просохла типографская краска клеветнических фельетонов и рецензий, а Губанов затевает новый литературный скандал: в январе 1965-го создаёт с товарищами СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев) – неформальную организацию поэтов, писателей и художников. Помимо лидера Губанова, в объединении старшеклассники и студенты В. Алейников, В. Батшев, Ю. Кублановский, С. Соколов, В. Бережков, А. Васютков, Б. Дубин, Л. Комаровский, Б. Кучер, А. Пахомов, Т. Реброва, А. Урусов – всего несколько десятков человек. Смогисты читают стихи у памятника Маяковскому, их эпатажные афиши зазывают публику на творческие вечера в школы и библиотеки. Добровольные помощницы перепечатывают их самиздатские сборники и альманахи. Уже в апреле смогисты проводят демонстрацию в защиту левого искусства – после шествия по столице вручают членам Союза писателей петицию с требованием(!) признания и предоставления помещения для выступлений. После этого о «молодых гениях» пишет не только советская пресса (пытающаяся скомпрометировать СМОГ в сатирических статьях), но и западные издания: «Русская мысль», «Посев», «Die Welt», «Il Giornale d'Italia», «Daily Mail», «New York Times». Произведения смогистов начинают регулярно публиковать во франкфуртском журнале «Грани».

Как следствие, в начале 1966 года общество, деятельность которого постепенно приобретала политический характер, было решительно ликвидировано органами госбезопасности. Его участников исключали из институтов, отправляли «за тунеядство» в ссылки. Кто-то сходит с дистанции, пробует «переждать», сгладить углы. Губанов не признаёт ни сторонней правки, ни самоцензуры. Кажется, ему дано то, чего Рембо интуитивно добивался с помощью гашиша, абсента и бессонницы – писать, отключив сознание, стать ясновидцем от поэзии.

Ждите палых колен,
ждите копоть солдат
и крамольных карет,
и опять баррикад.

Какие могут быть баррикады в стране победившего социализма? Может, это о Венгрии? Новочеркасске?.. Или предчувствие Чехословакии?..

Потому, что налив
в ваши глотки вина,
я – стеклянный нарыв
на ливрее лгуна.

Своё «Я» Губанов делает центральным образом поэзии, фамилию за псевдонимами в тамиздате (что часто практиковалось старшими товарищами) не прячет. За Губановым ведётся слежка, периодически его помещают в подведомственные КГБ психиатрические клиники – *«Ты, поэзия, довела, / Донесла на руках до Кащенко»*.

Но что может остановить гения, когда весь мир у его ног! Губанову лишь двадцать, а его «Художник» опубликован с переводом Джорджа Риви в США. Редактор выходившей в СССР британской фронтовой газеты Риви составил свою антологию *русских* поэтов «от Пастернака до Губанова». Ходят слухи о публикации Губанова во французской антологии, патронировавшейся едва ли не самим Арагоном[1]. Очередное стихотворение из «Граней», с переводом на итальянский, напечатано в антологии миланского издательства «Jaca Book» (одного из немногих, публиковавших в капиталистической стране с самой большой компартией нашу неподцензурную литературу)[2]. Появляется небезосновательное ощущение международного признания: «*Вы спрашиваете: вышли ли мои новые книги?! Этого к сожалению не знаю, может быть вышла в Мадриде.... в остальных городах меня везде знают!*[3]» – с юношеской бравадой пишет поэт друзьям.

Стихи предводителя СМОГа анализируют в иностранных журналах. Литературовед Эммануил Райс, специалист Национального центра научных исследований Франции, точно подмечает: «Яснее многих Губанов понял, что в поэзии звук важнее смысла <…> Но звуки только усиливают эффект неожиданности при смело сближаемых, очень отдалённых понятиях. <…> Чем они отдалённее одно от другого, тем сильнее разрядка духовной энергии»[4]. Действительно, из «какого сора», словно фригийский царь, обращавший всё, чего касался, в драгоценный металл,

---

[1] О возможной (но не подтверждённой) публикации губановского «Художника» в такой антологии сообщено смогистом Борисом Дубиным (1946-2014).

[2] Указанные в антологии имена переводчика Жана Ибсена и сотрудничавшего с ним Николы Сорина, по мнению эмигрировавшего в Италию смогиста Александра Урусова, псевдонимы. За участие в исследованиях (публикации) самиздатской литературы итальянских славистов как минимум могли лишить въездной визы в СССР.

[3] Из неопубликованного письма Л. Губанова А. Аланакяну и С. Золяну от 20.05.1970 (в процитированном отрывке сохранена авторская пунктуация). – Архив Ирины Губановой.

[4] Райс, Э. Модернизм и молодая русская литература (об авторах СМОГа и о поэте А. Михайлове) // Грани. – 1966. – № 61. – С. 105.

Губанов способен создавать новую образность? «*Когда ресницы опаля, / За пазуху летит комета*», «*журавли бельё полощут*», «*Умоюсь или помолюсь / Голубоглазыми руками*», «*ты бледна, как дважды восемь*», «*на венских стульях моих ушей*», «*Нерон Вероны, Бирон перрона*», «*Я стал Садко своего одиночества*»… Слова сочетаются вопреки законам синтаксиса, стилистики и семантики.

В стихах постоянно появляются отсылки к изобразительному искусству (поэт превосходно разбирается в живописи, иконописи: ещё подростком он учился в детской художественной школе). Много визуальных образов – например, в маленькой поэме «Иван Грозный» тиран доверительно открывается: «*Мне каплет маленький апрель / свечным барашком в прудик банки*», любовно признаётся: «*накаркал мне мой чёрный ворон / твои берёзовые плечи*» и юродски предлагает сыграть «*в кости, что тлеют на лице двора*». (И перед глазами читателя сменяются наивный рисунок, васнецовски сказочная картина, авангардная графика с наложением изображений интерьера крестьянской усадьбы на абрис лица…) Сродни сюрреалистическим кинокадрам образы: «*толпа будет смешно и нелепо выглядеть – / как человек, который в море зашёл в пальто*» (*«Воспоминание о своих прошлых похоронах»)*. На грани фола звукопись:

Строится Кремль,
Динь-Бом,
строится кем?
Деньгой!

(«Заметки на подкладке пальто»)

Постоянно переосмысливаются темы, мотивы и образы мирового искусства. Аллюзии на произведения классиков, цитаты и реминисценции из них пронизывают всё творчество поэта. Отсутствие систематического образования (не помешавшее, кстати, стать великим поэтом Маяковскому) Губанов успешно восполняет знаниями из книг. «Хотелось бы заняться живописью, музыкой, анатомией, философией, психологией, а также вопросами религии и т.д. <…> Сейчас читаю Бальзака, Куприна, Достоевского, Гёте, Стендаля и т.д.»[1], – сообщает он в письме своей наставнице. Конечно, профессора и академики, из круга его почитателей могли бы упрекнуть книгочея за непрофессиональный подход в интерпретации исторических событий. Но ведь часто интуитивное отражение эпохи в искусстве бывает выразительнее энциклопедических выкладок.

[1] Письмо Л. Губанова М.М. Шур 196<5> г. цитируется по изданию: Сенкевич, А. Показания свидетелей защиты (Из истории русского поэтического подполья 60-х годов). – М. : Знание, 1992. – С. 42.

(Как не вспомнить в этой связи великого носителя античной культуры Мандельштама, срезавшегося на экзамене на… Эсхиле.)

Определённое представление об эстетических вкусах и мировоззрении Губанова даёт составленный им в 1969-м перечень книг для обязательного прочтения. Краткий список, (в который не вошёл ряд «само собой разумеющихся» имён), был подготовлен для юного друга, к слову, впоследствии возглавившего Ереванский государственный лингвистический университет им. В.Я. Брюсова. Помимо Библии, двухтомной «Индийской философии», Корана и книг по мифологии Губанов рекомендовал товарищу Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Фрейда, Данте, Аввакума, Стерна, Гёте, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, Сологуба, Белого, Зайцева, Ремизова, Замятина, Хлебникова, Гумилёва, Ходасевича, Северянина, Пастернака, Мандельштама, Цветаеву, Пильняка[1]. Но и классиков Губанов воспринимал не столько как учителей, сколько как коллег по цеху, лучших среди равных. Поэтому в стихах наравне с: «*Была б жива Цветаева – пошёл бы в ноги кланяться*» – можно встретить почти запанибратское: «*Дай, Лермонтов, мне рюмку, я допью*». И не показательная ли это демонстрация того, кто ближе к Пантеону: он или растиражированный автор «Братской ГЭС» с коленопреклонённой просьбой: «Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд»?

Тогда же, в конце шестидесятых, Губанов начинает работать над большими поэмами с претенциозными названиями: «Борис Годунов» и «Фауст». Состязание с великими предшественниками продолжалось несколько лет. После многочисленных правок и переделок от первой поэмы остались композиционно слаженные фрагменты (без малого восемьсот строк), от второй – лишь вступление из четырёх строф. Но не только масштаб замысла виной неосуществившихся планов. Меняется общественная атмосфера в стране. В тюрьмах оказываются близкие люди: правозащитники Юрий Галансков – в 1972-м погибнет в лагерной больнице, Илья Габай – в 1973-м выбросится с балкона, Вадим Делоне – в 1975-м эмигрирует во Францию, Владимир Буковский – в 1976-м будет обменян на Луиса Корвалана. (Всем им, «*друзьям, не опустившим глаз*», поэт посвятит стихи, вошедшие в сборник «Волчьи ягоды» – разумеется, самиздатский.) В сумасшедших домах удерживают товарищей по СМОГу В. Волшаника, В. Мошкина, А. Калашникова, С. Морозова. Кого-то губят наркотики, чаще – водка: «*Не сгибается, так спивается, / Тот, кто носит искусства крест*». Кто-то находит преждевременную смерть, порой при невыясненных обстоятельствах (как художник Евгений Рухин). Друзья и знакомые – представители творческой интеллигенции – массово поки-

[1] Золян, С. Леонид Губанов о поэзии (письма Леонида Губанова Араму Аланакяну и Сурену Золяну) // Русская литература. – 2018. – № 2. – С. 265.

дают страну: Василий Ситников, Саша Соколов, Юрий Титов, Александр Галич, Евгений Кушев, Олег Целков, Вагрич Бахчанян, Николай Боков, Юлия Вишневская, Сергей Бронс, Александр Путов, Юрий Мамлеев, Лидия Мастеркова, Генрих Худяков, Борис Камянов, Илья Бокштейн, Эдуард Лимонов, Иосиф Бродский. Сам Губанов, абсолютный патриот, не предпринимает попыток эмигрировать (при том, что в ОВИРе работает его мать). Его невозможно представить респектабельным западным жителем, немыслим он ни в профессорской мантии, ни в ливрее мажордома. Он-то помнит, что вернулись Цветаева и Есенин (знает, и чем это обернулось для них)… В родном отечестве над вольным мастером, питающимся нектаром поэзии, постоянно висит угроза наказания за «длительное проживание на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда». Подолгу Губанов не задерживается ни на одной работе, приходится менять специальности: фотолаборант, рабочий геологической экспедиции, художник-копировщик, пожарный в театре. Уже не рассчитывая опубликоваться на родине и не делая попыток печататься в тамиздате, поэт начинает составлять своё машинописное собрание сочинений.

Советский Союз, с самым протяжённым периметром государственной границы, кажется отгороженным островом в океане свободной поэзии. Отголосками эха иногда возвращаются в Москву губановские стихи. Так однажды в середине 1970-х, ловя ночью «вражеские голоса», Губанов услышал своё религиозное стихотворение на волнах «Радио Ватикана». Иногда эмигранты устраивают публикации, о которых, похоже, поэт и не догадывался. В Тель-Авиве два года подряд выходили губановские стихотворения в журнале «Время и мы». В Париже Михаил Шемякин и Константин Кузьминский издали роскошный альбом нонконформистского искусства «Аполлон-77» (названием подчёркивая преемственность от дореволюционного литературно-художественного журнала). Губанов представлен в нём лишь двумя небольшими текстами – похоже, эмигранты-составители из Ленинграда просто не смогли найти больше. (В многотомной антологии Кузьминского «У голубой лагуны» аналогичная проблема: стихотворения неоднократно упоминаемого Губанова отсутствуют.)

К концу жизни Губанов оказался почти забыт. К нему в Кунцево уже не пробираются из других городов «ходоки», заболевшие стихами после прочтения столичного самиздата. В частных фонотеках размагничиваются магнитофонные плёнки со стихами в неистовой авторской декламации[1]. И всевидящим соседкам не догадаться, что до времени состарив-

[1] Эффектная манера чтения Л. Губанова запечатлена на снимке В. Сычёва, опубликованном в фотоальбоме Les russes / Vus par Vladimir Sichov – Paris : Paris Match : Ovivier Orban, 1980. Позднее снимок будет воспроизведён на обложке американо-французского журнала «Стрелец». – 1988. – № 2.

шийся чудак с тетрадкой на скамейке – поэт, не так давно сводивший с ума светских красавиц, званый гость иностранных посольств, чью фамилию можно встретить в выходящих на Западе книгах Краснова-Левитина, Буковского, Лимонова. Самого же Губанова, кажется, поддерживали надежда верующего:

Ад не принял, Рай – смеётся,
Может, Бог и сохранит!.. –

и твёрдая вера в будущее своей поэзии:

Я – то зерно, которое взойдёт!

Тогда, в 1983-м, суровую родину ещё только ожидали грандиозные перемены. Но они пришлись на время других поэтов…

Воистину неисповедимыми оказываются пути губановских стихов к читателям. Предугаданный поэтом уход в 37 потряс современников – в разных частях света друзья откликались посмертными посвящениями, редакторы – запоздалыми поэтическими подборками (публикации в буржуазных странах уже не могли навредить автору). Во Франции Губанова печатают благопристойная «Русская мысль» и хулиганская «Мулета». Кристина Зейтунян-Белоус (чьи стихи вышли с губановскими в одном номере «Стрельца») вскоре издаёт свои переводы поэта в парижских журналах «LRS – Lettres Russes» и «Europe». Помимо «стрелецких» произведений и стихов из мемуаров Натальи Шмельковой[1], ею переведены машинописные тексты, полученные от Юрия Мамлеева, публично заявляющего, что после издания Губанова в русской классике произойдёт перестановка.

Долгожданная, вышедшая в 1989 году мюнхенская книжица поэта «Ангел в снегу»[2] оказывается до обидного тонкой. Одноимённый сборник, пять лет спустя выпущенный в московском издательстве «ИМА-Пресс», сходен по составу. Обе малотиражные книги – библиографическая редкость… Помимо «Граней» в Германии Губанова с конца девяностых публикуют основанные смогистом-эмигрантом Владимиром Батшевым журналы «Литературный европеец» и «Мосты».

---

[1] В книге воспоминаний «Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного» Н. Шмельковой описано, как Губанов попросил её однажды: «Если меня вдруг не будет, передай мои стихи на Запад». Таким образом, воля поэта исполнилась.

[2] Ко всем стихотворениям книги другом Губанова, художником А. Путовым, впоследствии в Бретани будут созданы рисунки, составившие графический цикл «Тайный колос».

Особый интерес поэзия Губанова вызвала на Балканах. Стихи из «Ангела в снегу» переводит сербская славистка Корнелия Ичин, ранее посещавшая СССР, лично общавшаяся с авторами андеграунда. Примечательно, что в биографической справке под переводами она называет Губанова «одним из величайших поэтов последних десятилетий», сравнивая его по значению с Бродским (уже получившим к этому времени Нобелевскую премию). Сопоставлению творчества Губанова и Есенина Ичин посвятила литературоведческую статью в журнале «Зборник Матице српске за славистику» (1996. – № 50–51). Также в Сербии переводами Губанова занимается Миодраг Сибинович – составитель трёхтомной «Антологии русской лирики», охватившей материал от летописей до текстов XXI века. В Хорватии губановские произведения (в том числе знаменитую «Полину») переводит писательница Ирена Лукшич. Помимо лидера СМОГа ею переведён ряд других поэтов сообщества. В книге «Русский поэтический авангард XX века: теория и практика» интертекстуальные связи губановского творчества исследует филолог из Благоевграда Магдалена Костова-Панайотова. Её соотечественник софиец Красимир Георгиев переводит несколько стихотворений поэта на болгарский.

В США переводы из Губанова немногочисленны. Над ними работали известный поэт второй волны эмиграции – профессор Иван Буркин и аспирант-славист Брэдли Джордан, участвовавший в подготовке евтушенковской антологии «Русская поэзия XX века». Согласно заверениям составителя, «контрабандные» материалы для издания через советскую таможню вывозили Марина Влади, палестинский поэт Махмуд Дервиш и киноактёр Уоррен Битти. Англоязычные варианты антологии вышли в Нью-Йорке и в Лондоне, что также рифмуется с губановскими строчками: *«В Америке и в Англии / стихи мои полюбите» («Я падаю, я падаю…»)*.

На Ближнем Востоке Губанова печатает иерусалимский журнал «Слог», в независимой Украине, где когда-то смогисты открывали свой «филиал», – столичный «Византийский ангел». Трогательно алогична публикация в Мариуполе: самиздатский сборник Губанова «Преклонив колени» вышел в составе 10-томного архива другого автора[1]. Не менее удивительна судьба «Стихотворения о брошенной поэме». Его фрагменты с указанием авторства были пропущены советскими цензорами при издании «Леса» – повести Андрея Битова, впоследствии переведённой на основные европейские языки.

[1] Мать безвременно ушедшего литератора Сергея Шапкина (1960–1995) в посмертно изданном архиве сына учла его пометку-пожелание: «У меня есть рукописи Л. Губанова из СМОГа… – хотелось бы их опубликовать» (Шапкин, С. [Архив] в 10 т. – Мариуполь. – 2001. – Т. 8. – С. 771).

В начале XXI века распространению губановской поэзии способствовали выход объёмного издания «Я сослан к Музе на галеры…» (М., 2003) и активное развитие Интернета. Несколько сотен текстов становятся доступными по всей планете. Появляются новые переводы в Сербии, Франции, Белоруссии, Мексике. Журнал «Alforja Revista de Poesía» (2004. – № XXX) печатает несколько испанских переводов, выполненных колумбийцем Хорхе Бустаманте Гарсиа. (Месторождением любви к русской поэзии для него стала Москва 1970-х, где он учился на геолога).

Переведённые на итальянский язык стихи со сбывающимся предчувствием Губанова публикуются в Милане:

И Венеция, и Вена,
И две шлюхи из Милана
Позабудут стиль Верлена
И полюбят стиль Губанова!..
(«Чёрная открытка»)

Venezia poi, ed anche Wien,
e due puttane di Milano,
scordato il verso di Verlaine,
vorranno quello di Gubanov.
(«Cartolina nera»)[1]

Научные наблюдения по поводу своих переводов (в частности, об удлинении строк при переложении на итальянский, специфике пунктуации, проблемах обилия имён собственных и междометий в лирике Губанова) обобщены Массимо Маурицио в статье «Qualche considerazione a margine delle traduzioni di Leonid Gubanov»[2].

Чем привлекает губановская поэзия иностранцев, переводчиков-профессионалов и любителей из разных уголков Земли? Не связанная условностями канонов и реалистической логики, она оставляет безграничные возможности для интерпретации: «Стихи его чрезвычайно богаты метафорами, которые порой трудно разгадать»[3]. Предельно откровенная, исповедальная лирика внутреннего эмигранта созвучна и почвеннической традиции, и струне русского зарубежья. Вместе с тем несомненна и её авангардность: «Слышатся отзвуки имажинистских приёмов и чувствуется сильное влияние Хлебникова[4]». Его на редкость «контактное» творчество – важное связующее звено между серебряным веком и современной поэзией, восстанавливающее нарушенную революцией преемственность искусства.

---

[1] Maurizio, M. Leonid Gubanov: Miti e dolorose utopie (traduzione e introduzione) // Poesia. – Milano, 2007, Giugno. – № 217. – P. 68.

[2] Maurizio, M. Qualche considerazione a margine delle traduzioni di Leonid Gubanov // Da poeta a poeta. Del tradurre la poesia / a cura di A. Romanovič e G. Politi. – Lecce : Pensa multimedia, 2007. – P. 283–292.

[3] Казак, В. Лексикон русской литературы XX века. – М. : РИК Культура, 1996. – С. 118.

[4] Мальцев, Ю. Вольная русская литература. 1955–1975. – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1976. – С. 279.

Определённый интерес представляют поэтические пророчества Губанова, при желании легко соотносимые с футурологическими прогнозами. При этом его биография – востребованный ныне пример достойного противостояния личности как тоталитарной системе, так и идеологии потребления с масскультом. Впрочем, наше издание не ставит задачи создания «литературной репутации» поэта за рубежом, не претендует и на академизм. Меньше всего хотелось, чтобы оно походило на выцветший гербарий с латинизированными названиями. Надеемся, что живая поэзия Леонида Губанова, ещё недостаточно представленная за пределами России, взволнует читателей, как забытый в книге цветок.

Андрей ЖУРБИН

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЛЕОНИДА ГУБАНОВА

ПОЛИНА

Полина! Полынья моя!
Когда снег любит, значит, лепит,
а я, как плавающий лебедь,
в тебе, не любящей меня.

Полина! Полынья моя!
Ты с глупым лебедем свыкаешься
и невдомёк тебе печаль моя –
что ты смеркаешься, смыкаешься,
когда я бьюсь о лёд молчания.

Снег сыплет то мукóй, то мýкой,
снег видит – как чернеет лес,
как лебеди, раскинув руки,
с насиженных слетают мест.

Вот только охнут бабы в шали,
дыхнут морозиком нечаянно,
качать второму полушарию
комочки белого отчаянья.

И вот над матерьми и жёнами,
как над материками жёлтыми,
летят, курлычут, горем корчатся
за тёплые моря в край творчества.

Мы все вас покидаем, бабы,
как Русь, сулящую морозы,
и пусть горят в глазах берёзы, –
мы все вас покидаем, бабы.

Мы – лебеди, и нам пора
к перу, к перронам, к переменам.
Не надо завтра пельмени
я улетаю в двадцать два.
Ведь перед красным лесом венам
плевать на совесть топора.

Когда дороги остывают,
пророчат вороны семь бед,
планета дышит островами
необитаемых сердец!

Забыв о кошельках и бабах,
ждут руки на висках Уфы,
как рухнут мысли в девять баллов
на робкий, ветхий плот строфы.

Душа моя – ты таль и опаль.
Двор проходной для боли каждой.
Но если проститутка кашляет,
ты содрогаешься, как окрик.

Но всё же ты тепла и зелена
и рифмой здорово подкована.
Я сплю рассеянным Есениным,
всю Русь сложив себе под голову.

Давно друзей не навещаю я –
всё некогда: снега, дела...
Горят картины Верещагина
и пеплом ухают в диван.

А где-то с криком непогашенным,
под хохот и аплодисменты,
в пролёт судьбы уходит Гаршин,
разбившись мордой о бессмертье.

Так валят лес, не веря лету.
Так, проклиная баб и быт,
опушками без ягод слепнут
запущенные верой лбы.

Так начинают верить небу
продажных глаз, сгоревших цифр,
так опускаются до НЭПа
талантливые подлецы.

А их уводят потаскухи
и потасовка бед и войн.
Их губы сухо тянут суки,
планета, вон их! Ветер – вон!

При них мы сами есть товар,
при них мы никогда не сыты.
Мы убиваем свой талант,
Как Грозный собственного сына.

Но и тогда, чтоб были шёлковыми,
чтоб не могли ступить на шаг,
за нами смотрят Балашовы
с душой сапожного ножа.

Да! Нас, опухших и подраненных,
дымящих, терпких, как супы,
вновь распинают на подрамниках
незамалёванной судьбы.

Холст 37 на 37,
такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
и не от праздности совсем.

Мы сеятели. Дождь повеет,
в сад занесёт, где лебеда,
где плачет летний Левитан, –
Русь понимают лишь евреи.

Ты – лебедь. Лунь. Свята, елейна,
но нас с тобой, как первый яд,
ждут острова Святой Елены
и ссылки в собственное – я!

О, нам не раз ещё потеть
и, телом мысли упиваясь,
просить планету дать патент
на чью-то злую гениальность!

Я – Бонапарт. Я – март. Я плачу
за морем, как за мужиком,
и на очах у чёрных прачек
давлюсь холодным мышьяком.

Господь! Спаси меня, помилуй!
Ну что я вам такого сделал?
Уходит из души полмира,
душа уходит в чьё-то тело.

И вот уже велик, как снег,
тот обладатель.
Не беспокоясь о весне,
он опадает.

Но он богат, но он – базар,
где продают чужие судьбы.
Его зовут месье Бальзак,
и с ним не шутят.

С его пером давно уж сладу нет,
сто лет его не унимали.
Ах, слава, слава – баба слабая,
какие вас умы не мяли?..

Долой ваш суд, моя посредственность,
не прячьтесь в воротник, бездарность.
Как! Вы не можете без дамы?
На кой мне чёрт твоя наследственность?!

Когда мы сердце ушибаем,
где мысли лезут, словно поросль,
нас душат бабы, душат бабы –
тоска, измена, ложь и подлость!

Века, они нам карты путают,
их руки крепче, чем решётки
и мы уходим, словно путники,
в отчаянье и отрешённость.

Мы затухаем и не сетуем,
что в душу лезут с кочергою.
Как вётлы над промокшей Сетунью,
шумят подолы Гончаровых.

Ах, бабы, бабы, век отпущен вам.
Сперва на бал, сперва вы ягодка.
За вашу грудь убили Пушкина.
Сидела б, баба, ты на якоре.

А-у! Есенину влистившая
глазами в масть, губами клёвыми,
ты обнимаешь перестывшего
за не познавших, но влюблённых.

Тебе, не любящей одних,
его, как мальчика, швырять.
Да, до последней западни,
Да, до последнего шнура!..

О, если б знали вы, мадонны,
что к Рафаэлю шли на Пасху,
что гении сидят, как вдовы,
оплакивая страсть напрасную.

Что гении себя не балуют,
что почерк их ночами точится.
Что издеваются над бабами,
когда не в силах бросить творчество!

Когда изжогой мучит дело,
и тянут краски тёплой плотью,
уходят в ночь от жён и денег
на полнолуние полотен.

Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!
Забыв измены, сны, обеты.
И умирать из века в век
на голубых руках мольберта!

Полина! Полоня меня
палитрой разума и радости,
ты прячешь плечики, как радуга,
и на стихи, как дождь, пеняешь.

Но лишь наклонишься ты маком,
губами мне в лицо опав,
я сам, как сад, иду насмарку,
и мне до боли жалко баб!..

Январь 1964 (в редакции 1977)

* * *

Я – Дар Божий, я дай Боже нацарапаю,
Улыбнутся вётлы: на царя, поди?
И заплещут – берег наш любимый,
И за плечи белые обнимут.
Скоро тёплый ливень красных губ –
Подставляй лицо, гори под струями
И твори, лепи себя, как в студии –
Скоро-скоро тёплый ливень губ.
Скоро, одиночеством запятнанный,
Я уйду от мерок и морок
Слушать зарифмованными пятками
Тихие трагедии дорог,
Замирать и бить в ладоши с гусем,
Ждать, когда же, наконец, от горя
Пастухи, беременные Русью,
Стадо слов к моим устам погонят.

1963

* * *

Я беру кривоногое лето коня,
Как горбушку беру, только кончится вздох.
Белый пруд твоих рук очень хочет меня,
Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог?

Знаю я, что меня берегут на потом,
И в прихожих, где чахло целуются свечи,
Оставляют меня гениальным пальто,
Выгребая всю мелочь, которую не в чем.

Я стою посреди анекдотов и ласк,
Только окрик слетит, только ревность притухнет,
Серый конь моих глаз, серый конь моих глаз,
Кто-то влюбится в вас и овёс напридумает.

Только ты им не верь и не трогай с крыльца
В тихий, траурный дворик «люблю»,
Ведь на медные деньги чужого лица
Даже грусть я тебе не куплю.

Осыпаются руки, идут по домам,
Низкорослые песни поют,
Люди сходят с ума, люди сходят с ума,
Но коней за собой не ведут.

Снова лес обо мне, называет купцом,
Говорит, что смешон и скуласт.
Но стоит как свеча над убитым лицом,
Серый конь, серый конь моих глаз.

Я беру кривоногое лето коня...
Как он плох, как он плох, как он плох,
Белый пруд твоих рук не желает понять…
Ну а Бог?
Ну а Бог?
Ну а Бог?

Осень 1964

НАПИСАНО В ПЕТЕРБУРГЕ

А если лошадь, то подковы,
что брызжат сырью и сиренью,
что рубят тишину под корень
непоправимо и серебряно.
Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
ещё лицо не рассвело,
но пахнет музыкой и матом.
Целуюсь с проходным двором,
справляю именины вора,
сшибаю мысли, как ворон
у губ с багрового забора.
Мой день страданьем убелён
и под чужую грусть разделан,
я умилён, как Гумилёв
за три минуты до расстрела.
О, как напрасно я прождал
пасхальный почерк телеграммы,
мой мозг струится, как Кронштадт,
а крови мало, слышишь, мама?
Откуда начинает грусть?
Орут стихи с какого бока,
когда вовсю пылает Русь
и Бог гостит в усадьбе Блока?
Когда с дороги перед вишнями
ушедших лет, ослепших лет,
совсем сгорают передвижники,
и есть они, как будто нет!
Не попрошайка я, не нищенка,
прибитая злосчастной верой,
а Петербург, в котором сыщики
и под подушкой револьверы.
Мой первый выстрел не угадан,
и смерть напрасно ждёт свиданья,
я заколдован, я укатан
санями золотой Цветаевой.
Марина! Ты меня морила,
но я остался жив и цел,
а где твой белый офицер
с морошкой молодой молитвы?

Марина! Слышишь, звёзды спят,
и не поцеловать досадно,
и марту храп до самых пят,
и ты, как храм, до слёз до самых.
Марина! Ты опять не роздана,
ах, у эпох, как растерях, –
поэзия – всегда Морозова
до плахи и монастыря!
Её преследует собака,
её в тюрьме гноит тоска,
горит, как протопоп Аввакум,
бурли-бурлючая Москва.
А рядом, тихим звоном шаркая,
как будто бы из-за кулис,
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм!..

* * *

Я – та окраина, где вы
Седые головы снимали
И ничего не понимали.
Я – та окраина, где выл
Снег и крестьянка головы
Не поднимала к векам Сталина.
Я – та, которая оставила
Рисунки права и молвы.
Я – та окраина, где вы
Не усмехались, фарисеи,
Где Слава Божия, увы,
Покачивалась, как Есенин.
Где подходила туча дел,
Где нам кадила проститутка,
Где я на ржавый нож глядел.
Я – та окраина, где жутко.

* * *

Над красной Москвою белые кони звёзд.
Я крался с тоскою в беглые полдни вёрст.
И пруд начинался запруженный, в травах и птичках,
И блуд зачинался за пузом лукавых опричников.
И пахло телятами, божьими фресками, жатвой,
Кабак удивлял своей прозою трезвой и сжатой,
И пенились бабы, их били молочные слёзы,
Как будто и вправду кормили их грудью берёзы.
Вставайте, слова – золотые мои батраки,
Застыла трава, и безумны молитвы реки.
Сегодня спускаюсь, как в погреб, где винные бочки,
В хмельные твои, сумасшедшие, дивные очи.
Сегодня хочу за цыганскими дивными песнями
На вечность забыться... и только вот разве
На клюкве губы ощущать твою Персию,
В которую верил и Дьявол, и Разин.

ЛЮБИМОЙ ВМЕСТО ОПРАВДАНИЯ

Ещё и губ не выносили,
но кашляли в платок тайком.
Мы пол-России износили,
колоколами отпоём.

На наши тихие молебны
ареста сладкий перезвон,
как мальчики, смеются нервы
и крутят жёлтый горизонт.

Креститесь долгими руками
Пока подраненные злят,
пока нам весело на камне
с тревожным именем – Земля.

Туда, где сад отпустит ногти
всех роз своих… уйдёшь и ты,
у каждой родины в блокноте
разлук кровавые бинты.

О, позолоченная память
над позвоночником коня.
Я у собора под глазами,
ты под глазами у меня.

Наверное, я Богом спрошен
с той парты, где хрустален взгляд.
Мы на любимых руки крошим,
а сами принимаем яд.

Но что нам делать до обедни,
когда и парус не распят,
когда, как долечки, отдельно
по чёрным слободам казнят?

У бабушки моей зимы
нашлись зелёные погоны.
По горло мне любовь страны,
до лампочки её погода.

Меня прошло совсем немного.
Ах, всё равно я выйду – за…
Там начинают звёзды трогать,
там начинаются глаза!

БАНДЕРОЛЬ СВЯЩЕННО ЛЮБИМОМУ

Александру Галичу

Молись гусар пока крылечко алое,
сверкай и пой на кляче вороной
пока тебя седые девки балуют
и пьяный нож обходит стороной.
Молись гусар отныне… или присно,
на табакерке сердца выводи
и пусть тебя похлопает отчизна
святым прикладом по святой груди.
Молись гусар… за бочками, бачками
на веер карт намечены дуэли
да облака давно на вас начхали
пока вы там дымили и дурели.
Молись гусар! Я расскажу вам сказку
когда курок на спесь не дарит спуску
ведь ваша честь – разорванная маска,
где вместо глаз сверкает гной и мускул.
Молись гусар! Уже кареты поданы.
Молись гусар! Уже устали чваниться,
гарцуют кони и на бабах проданных
любовь твоя загубленная кается.
Молись гусар! Во имя прошлых девок
во имя Слова, что тобой оставлено,
и может быть твоё шальное тело
в каких-нибудь губерниях состарится.
Молись гусар, пока сады не поняли,
молись, гусар, пока стрельцы не лаются
ведь где-нибудь подкрасит губы молния,
чтобы тебе при случае понравиться.
И только тень, и только пепел... пепел
палёный пень… и лишь грачи судачат...
и только вздрогнет грязно-медный гребень.
А снявши голову, по волосам не плачут!!!

ПЕРИСТЫЙ ПЕРСТЕНЬ

Этой осенью голою,
где хотите, в лесу ли, в подвале,
разменяйте мне голову,
чтобы дорого так не давали.
И пробейте в спине мне,
как в копилке, глухое отверстие,
чтоб туда зазвенели
ваши взгляды… и взгляды «ответственные».
За глаза покупаю
книжки самые длинные,
баба будет любая,
пару чёрных подкину ей.
За такси очень ласковое,
шефу с рожею каменной
я с презреньем выбрасываю
голубые да карие.
Ах, копилушка-спинушка,
самобранная скатерть,
мне с серебряной выдержкой
лет на пять ещё хватит.
За глаза ли зелёные
бью зелёные рюмки,
а на сердце влюблённые
все в слезах от разлуки.
Чтоб не сдохнуть мне с голоду,
ещё раз повторяю –
разменяйте мне голову,
или зря потеряю!..

ПАЛИТРА СКОРБИ

Я провёл свою юность по сумасшедшим домам,
где меня не смогли удавить, разрубить пополам,
где меня не смогли удивить… ну, а значит, мадам,
я на мёртвой бумаге живые слова не продам.

И не вылечит тень на горе, и не высветлит храм,
на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча…
Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм,
как не верят в пощаду холодные губы меча!

БЛАГОДАРЮ

В. Лашковой

Благодарю за то, что я сидел в тюрьме
благодарю за то, что шлялся в жёлтом доме
благодарю за то, что жил среди теней
и тени не мечтали о надгробье.

Благодарю за свет за пазухой иглы.
благодарю погост и продавщицу
за то, что я без паюсной икры
смогу ещё полвека протащиться.

Благодарю за белизну костей
благодарю за розовые снасти
благодарю бессмертную постель
благодарю бессмысленные страсти.

Благодарю за серые глаза
благодарю любовницу и рюмку
благодарю за то, что образа
баюкали твою любую юбку.

Благодарю оранжевый живот
своей судьбы и хлеб ночного бреда.
Благодарю… всех тех, кто не живёт,
и тех кто под землёю будет предан.

Благодарю потерянных друзей
и хруст звезды, и неповиновенье.
…благодарю свой будущий музей
благодарю последнее мгновенье!

* * *

Там, где ветер дипломат,
там, где дождик ювелир,
там, где сотни лет подряд
мысли на расстрел вели,

там, где утро льёт кумыс,
а служанки пьют вино,
где в лакеях пьяный свист
сеет горьких драк зерно,

там, где церковь ворожит,
там, где цены гоношат,
там, где нечем дорожить
кроме ржавого ножа…

Это родина тоски,
плодородной лжи участок,
где горячие виски
в ледяной наган стучатся.

Пусть поймёт меня страна
с манифестами резни,
как спивались Имена,
бронзой капая с ресниц!

* * *

Я буду править миром мрака,
И тот, кому я выйду боком,
Найдёт кровавую рубаху,
Ехидно снятую востоком.
Я буду править тенью лика
И колесницами разврата,
Где бьют копытами великих
Чужие козырные карты.

Я буду требовать и править
Ручьи, в которых крестят месть,
И на губах волшебных трапез
К пергаменту поминок лезть.
И помолившись, по моим
Следам… пойдёт лихая сплетня –
Что я не Каин, но храним
Любовною запиской смерти.

* * *

Мне бы только лист и свет,
мне бы только свет и лист,
неба на семнадцать лет,
хлеба на полночный вист.
Редких обмороков рвань,
с рифмой роковую связь,
чтоб она, лесная лань,
всех наказов слушалась.
Ножницы, чтоб розы стричь,
финку, чтобы в душу лезть,
и ресниц опальных – бич,
и в чернильных пятнах – месть.
Марку на слепой конверт,
синий ящик в переулке,
где колотятся ко мне
письма пухлые, как булки.
Смехом выпрошенный йод
и под правым глазом – шрам...
Остальное заживёт,
пошевеливайся сам.
А ещё хочу снежок
неизвестной дамы в спину,
а ещё хочу флажок
красный лишь наполовину.
Больше нечего желать.
Я – домашнее заданье,
обо мне переживать –
в августе брести садами.
Не взошёл ещё горнист
молодых моих ошибок.
Ты не горбись, а гордись,
что злодейского пошива.
Но зевает чья-то тень,
и за пазухой её
нашей славы лютый день
динамитом накалён.
Непонятным не понять.
Неустроенным – устроить.

А по ком в Москве звонят,
это – памятник, пустое.
Мне бы только лист и свет.
Мне бы только свет и лист.
Это мой насущный хлеб.
Это мой насущный риск.
На растерянной земле,
там, где певчим жить прохладно,
буду в бронзовой семье,
а поклонницы – охраной.
Ты за плечи грусть возьми.
Не заплечных дел ведь мастер,
я вернулся в мир казнить
всех, кто был фальшивой масти!

НАКАНУНЕ

Я помолился голубейшим ликам
о том, что скоро побелеет локон,
и смерти испугается свеча,
узнав, как тают по священным книгам
ученики любимейшие Бога.
И в тюрьмах сыновья его мычат
и в небесах непоправимо пьяных
и в небесах непоправимо пленных
я таинство последнее узнал –
о том, как люди поздно, или рано
начнут, вскрывая ангельские вены
выпрашивать прощение у зла.
Заплачет камень, затвердеет полдень,
и шар земной, похожий на золу…
заставит повторить великий подвиг
того, кого в стихах не назову.
И род людской, себя продавший трижды,
освобождённый только в облаках
благословит виновника сей тризны
и собственную кровь нальёт в бокал.
Сощурив глаз оранжевый, заря
скользнёт по леденящим скользким спискам
и на ремне последнего Царя
к нам приведут слепого василиска.
По всей земле предчувствую костры,
в заборах человеческие кости,
и на церквях не русские кресты,
а свастику отчаянья и злости.
И паюсной икрой толпа лежит…
и по сигналу можно только хлопать,
мильоны их, но ни одной души,
и проповедь свою читает робот.

* * *

Без повеления любви,
без пожелания разлуки
лови холодные, в крови,
неокольцованные руки.
На плечи белые твои
без приглашенья, без молитвы
они торжественно легли,
как те кладбищенские плиты.
И стёрты надписи на них,
и неизвестно, что под ними –
кто погребён, но на двоих
одно и то же всходит имя.

И вспоминается печаль
измен моих – тенёт невольных.
В горячке мечется свеча,
всё подсмотревшая, ей больно.
С одышкой топится камин,
а на душе, вы правы – камень.
И я кричу себе: Аминь! –
а колокол мне – Каин! Каин!

С улыбкой страшною привстав,
любовь грозит уже из гроба,
и под материей в крестах
мне слышится – виновны оба!
Я рад назад, как пешеход
после аварии случайной,
но в сердце страх – какой же год
носиться с вами за плечами?

И бьётся сердце палача,
то, что воспитано для водки,
в ночи – для лунного луча,
в лесу – для бархатной молодки.
Я снова узнаю себя,
пока топор не опустился.
Мне жаль – я с вами не простился,
зато ушёл я, вас любя.

Без пожелания любви,
без повеления разлуки
под красной дудочкой зари
прошёл я чёрные науки.
С невинным грешница лицом
и девственница с ликом грешным –
я приглашу вас на крыльцо
там, где разлука неизбежна.

Но, вас казнив, скрывая боль,
всю ночь я спрашиваю Бога –
ах, где ж он, где он, ангел мой?!
Мне плохо
плохо
плохо
плохо!..

ЗАКЛИНАНИЕ

Татьяне Божевиковой

Я в окружении тебя
Я в нарушении тебя
Я в сокрушении тебя
Я в поражении тебя.

Я окружаюсь для тебя
я нарушаюсь для тебя
я сокрушаюсь для тебя
я поражаюсь для тебя.

Ты, только ты, мой Бежин луг
ты, только ты мой Божий друг
ты, только ты, мой Адов круг
ты, только ты, и радость рук.

Что мне лукавить без тебя
что мне убавить без тебя
что мне губами без тебя
что мне и память без тебя!?

Мир опостылел, как сундук
где запечатано добро
дай мне хоть к Страшному суду
налюбоваться лишь тобой.

Нет ничего смешней тебя
нет ничего сложней тебя
нет ничего важней тебя
нет ничего нужней тебя.

Власть или золото – ничто
любая истина – кора,
какой неласковой мечтой
ты для меня всегда была.

Так положи же наконец
Душу свою за чёрный день,

где золотится стыд колец
где между губ строга сирень.

Лодка любовная плывёт,
речка бездомная шалит…
кто-то меня не узнаёт –
из пистолетика палит.

Если простит мне экипаж
компас неопытных ресниц
буду до гроба только ваш
по полушарьям пьяных лиц.

И на коленях простою
Век свой на днище слезы черпая…
там, где любимую мою
поят вином моего черепа!!!

* * *

Сиреневый кафтан моих обид...
Мой финиш сломан, мой пароль убит.
И сам я на себя немного лгу –
Скрипач, транжир у поседевших губ.

Но буду я у родины в гостях
до гробовой, как говорится, крышки,
и самые любимые простят
мой псевдоним, который стоит вышки.

Я женщину любимую любил,
но ничего и небосвод не понял,
и сердца заколдованный рубин
последнюю мою молитву отнял.

Гори костёр, гори, моя звезда.
И пусть, как падший ангел, я расстрелян,
но будут юность в МВД листать,
когда стихи любовницы разделят.

А мне не страшно, мне совсем светло,
земного шара полюбил я шутки...
В гробу увижу красное стекло
и голубую подпись незабудки!

* * *

Глаз ваших луг вечнозелёный
пошлёт улыбку мне, опавшему,
потом поэмы заклеймённые
придут судить, придут допрашивать.
Там будет много разных танцев
семи отверженным богам,
и я каракулями стансы
пойду писать по облакам.
Колодец мне попить оставит,
ржаное поле даст зерно,
берёза русская прославит
мой голос – горько неземной.
Одна дорога приголубит,
другая босиком простит,
и чёрный хлеб презренье купит,
чтобы от сытости спасти.
Я ненавижу в мире лести
наивный фиговый листок...
там, где любая фальшь на месте,
и в кандалах гремит восторг.
Я не оставлю им ни слова,
ни головы своей, ни скрипки,
ни охмелевшей запятой...
И завещание безброво,
как Джиоконда, всё в улыбке
над чьей-то жизнью золотой.
Пусть в этом мире я кочую,
на рельсы голову пролив,
я верю в чудную кольчугу
бессмертно закалённых рифм.
Я верю в свой надёжный панцирь,
который стоит тайну тайн,
лишь на серебряные пальцы
холодный мел и уголь дай.
И если мною говорит
прелестный дух и вечный странник,
то пусть звезда моя горит
на чёрном лбу у мирозданья.

И пусть тот, кто меня читал,
себе зарубит непременно:
что небо – это мой чердак,
где я ночую ежедневно!

ПРЕЛЮДИЯ ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ

Спасибо вам за гонор кирпичей,
спасибо за позоры клиник, пашен,
спасибо вам за страшный мавзолей,
спасибо вам за гречневую кашу.
Спасибо за лукавую судьбу –
что ключик золотой упал в ручей.
Спасибо за спортивную ходьбу
всех новых ходоков и стукачей.
Спасибо за сожжённые сердца
друзей моих, не опустивших глаз.
Спасибо за улыбку мертвеца,
спасибо вам уже в последний раз.
Пока вы мрёте, как клопы плечистые,
напившись крови изумрудно-тающих,
я буду с водкой обходить Пречистенку
и выпивать за прорубь утопающих!

* * *

Мои губы – багряной улочкой,
да только ты на ней – еврейской лавочкой.
И стукачи сидят, дымят трубочкой.
И постовые свистят, свистят ласточке.

А я покачиваюсь в проходных дворах,
на память окна бью,
гитары щупаю...
А мне бы бронзою
давным-давно
пора
стоять на площади,
на солнце щуриться!

* * *

Я с тем ещё здоровьем
в Христе немного пьяный,
я – тень его дороги,
но юный или рьяный.

Опальными устами
прошу посторониться
тем буквам, что устали
из-за меня давиться.

Я – стон крещёных дудок
и щёки благовеста...
и знойной злостью блуда
меня хранят невесты.

Не весть ли этот листик,
что всё известно грусти
акростих, словно крестик
гулять меня отпустит.

И только чёрный узел
бежит к молочной шее...
печаль, как водка с гуся
с меня снимает шелест.

С меня снимают маску,
звенит разлуки мускул.
Прости меня за ласку,
прости за то, что русский.

Россия иль Расея,
алмаз или агат...
Прости, что не расстрелян
и до сих пор не гад!

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА

И туча остановится
и облако состарится
кто крестится и молится
в душе моей прославится!
На бусы гляну ветхие
возьму лицо... пожалуюсь
и не увидеть ввек её,
пока грустит с пожарами.
Попросят руки белые
вспугнуть разлуки клавиши
пока за солью бегаю
и сахару не кланяюсь.
Пока с дождями мирятся
пока вождями мерятся
...и мир похож на мыльницу
в любой пузырь нам верится.
На шоколадных кладбищах
не подают, так падают
пузырь... пузырь играй ещё
как шар земной – взаправду ли?

Земля не остановится
могила не останется
...и только пена помнится
и только пена – скалится.
Летят шары бильярдные
танцуют кони в кузницах,
несут кресты приятные,
часы на кровь любуются.
Играй мой шар... ведь лопнешь же
и ничего не сбудется,
и Мандельштам в Воронеже
ворует же на улицах.
Сверкай свирелью сверстника,
плыви за лодкой розовой,
ведь надо только свеситься,
чтобы увидеть ложное!

ЗАМЕТКИ НА ПОДКЛАДКЕ ПАЛЬТО

Памяти Ильи Габая

Прибита Троицкая Лавра,
прибито лобное местечко,
в места не столь, откуда лапа?
Откуда грозная уздечка?!
В места не столь –
столы накрыты,
в места не столь –
волков награда,
в места не столь –
опять копыта
и гвозди для тебя по блату.
И лишь природа не колышется,
её не жмут за тунеядство,
салют, берёзки, как вам дышится?
Лишь для того, чтоб не стреляться?!
В крестах не стой, песок да це́мент,
Звезда – звездой, мы камни ценим!
А там, за затылком беспечного камня,
звезда принимает цианистый калий!

Строится Кремль,
Динь-Бом,
строится кем?
Деньгой!
Строится храм,
Бом-Динь,
строится храм,
бандит.
Ах, это брак,
пьяными-то руками.
Что же – всех благ,
всех благ вам, камень!

Но пока горны
поют честь и хвалу трупам,
я не перережу горло
и не порву струны.

И пока гордый
в облаках вестник,
буду жить голый,
как иероглиф мести.

И пока нет палача моей масти,
и пока скулят в моём мясе кости,
я буду жить и жить, как тот нищий мастер,
к которому стихи приходят в гости!
И последней сволочи я брошу на карту
каких-нибудь десять–двенадцать строчек
про долгую жизнь какого-то заката,
у которого очень кровавый почерк.
Потом повернусь на своих лопатках,
напишу эпиграмму другим, могильным,
и останусь на всю жизнь непослушно лохматым
и ругающимся матом при вашем имени!
Меня не интересует моё прошлое,
меня не интересует моё будущее,
я живу в России, как всё хорошее,
и счастлив тем, что обламываю удочки.
И если месяц не положат в гроб,
и если звёзды не загонят в тюрьмы,
подарю России свой белый лоб –
пусть чеканит бури…
За болью ли, за драками
меня, Россия, женят.
Спасибо вам, как раковине, –
за желчь, за жемчуг!

* * *

Когда румяный мой ребёнок
хрустальной ночью плачет зря
в глазах любимо-утомлённых
читаю рукопись царя.
Когда коробит лепрозорий
перчатки Пушкина в аду,
я вдохновенье, как мозоли
на сердце сладостное жду.
Ликуй, заснеженная память,
сверкай, изнеженная плеть...
я покажу, как разум плавить,
я докажу, как душу греть.
Печальники, упрямцы... чьи мы?
кто нас хранить заставил Свет?
Когда и вечность вышла чином
и звёзды – выслугою лет.
От этой роли замираю,
суфлёр убит, а плакать лень.
У свечки тихо занимаю
Шекспира сгорбленную тень.
Меня пугает эта Слава
и чёрный локон запятой,
прости, железная держава,
что притворилась – золотой.
Побольше бы твоих пророков
расстреливали на снегу,
вы запретили веру в Бога
надеждою на пять секунд.
Любовь вы к рельсам приковали,
поэтов в тундру увели
зевая, опубликовали –
...какие розы отцвели.
Потом узнали сколько стоит
берёз пытаемая кровь,
услышали как гений стонет
(любимая, не прекословь).
Как гордость нации моей
петлю и пулю принимает,
слезами всех семи морей

Россия это понимает!
Схватились за голову вы
но было поздно поздно поздно…
оставьте плакальщицам выть
...как хороши-то были розы!
Да, после смерти можно брать
любое лёгкое творенье...
но правды вам не миновать,
не скрыть от мира преступленье.
Не важно, кто пророк, кто праведник,
чьи губы до сих пор в крови,
вы маскируете под памятник
убийства гнусные свои.
Вас не спасёт доска из мрамора
мемориальная тоска,
лишь потому, что вы из мрака
из сатанинского куска!
Всё нами пройдено и понято
мораль сей басни такова –
пока тебя ласкает родина
ты можешь петь и токовать.
Но лишь придёт пора охоты
лети... и крыльев не жалей –
плюс кровь... объявлена погода
в капканах плачет соловей.
И трусов суховей в Поволжье,
и град убийств в моём Полесье
...но даже смерть идёт порожняя
от сердца, где царит поэзия.
Она поражена, положим,
она попутала, ошиблась.
...на погоревшую похожа
молила хлеба и божилась
не приходить ко мне до времени
моих исполненных желаний,
плевать на давку и давления,
предчувствия... переживания.
Плевать на 80 пыток,
плевать на 800 костров,
на 8000 всех убитых
и в 80 тыщ – острог.

Плевать на милое блаженство,
когда скандалит Божество.
Жизнь – родственница с грустью женской,
но братьев всё же большинство.
Из них любимейшими понят
как самый младший из троих
не забывай, заметит Подвиг
Талант добавит, лишь – Твори!

Но если вас измучит тайна
и любопытство грудь прожжёт,
скажу одно – за дальней далью
меня четвёртый тайный ждёт!!!

РУССКАЯ КЕРАМИКА

Есть где-то земля, и я назовусь её именем,
Есть где-то тюльпаны с моей головой и фамилией.
Есть где-то земля, пропитанная одышкой,
сестра киселя, а душа голубеющей льдышкой.

Есть где-то земля, пропитанная слезами,
где избы горят, где чёрные мысли слезают
напиться воды, а им подают лишь печали.
Есть где-то земля, пропитанная молчаньем.

Есть где-то земля, которую любят удары
и ржавые оспы, и грустные песни-удавы.
Есть где-то земля, которую любят пожары
и старые ритмы, и новые пьяные шмары.

Есть где-то земля, пропахшая игом и потом,
всегда в синяках, царапинах и анекдотах.
На пьяную юбку она нашивает обиды,
и только на юге её украшенья разбиты.

Есть где-то земля, как швея, как голодная прачка.
День каждый её – это камень во рту или взбучка.
Над нею смеются, когда поднимается качка.
Цари не целуют её потемневшую ручку.

Есть где-то земля, как Цветаева ранняя, в мочках,
горят пастухи, и разводят костёр кавалеры.
Есть где-то земля, как вино в замерзающих бочках –
Стучится вино головою, оно заболело!

Есть где-то земля, что любые предательства сносит,
любые грехи в самом сердце безумно прощает,
любые обиды и боли она переносит,
и смерти великих, как просеки лес, её навещают.

Есть где-то земля, и она одичала, привыкла,
чтоб лучших сынов застрелили, как будто бы в игры
играли, уволив лишь жалость, плохую актрису,
и передушили поклонников всех за кулисами.

Есть где-то земля, что ушла в кулачок даже кашлем,
И плачет она и смеётся в кустах можжевельника.
Есть где-то земля, с такою печалью – нет краше.
Нельзя так сказать? Помилуйте, может, не верите?

Есть где-то земля, и я назовусь её именем,
Есть где-то земля, и я назовусь её знаменем,
Последней любовницей в жизни моей без фамилии
она проскользнёт, и кому-то настанет так завидно.

Есть где-то земля, и я не боюсь её грусти,
От соли и перца бывает, однако, и сладко.
Есть где-то земля, где меня рекламируют гуси,
летящие к Богу на бледно-любую лампадку.

И я сохраню её почерк волшебно-хрустящий.
И я сохраню её руки молочно-печальные.
На всех языках, с угольком посекундно гостящий,
я знаю, я знаю, одна ты меня напечатаешь.

Ах, все-тки люблю я церковный рисунок на ситце.
Ах, все-тки люблю я грачей за седым кабаком,
Приказано мне без тебя куковать и носиться
и лишь для тебя притворяться слепым дураком.

Ах, все-тки люблю я утюг твой и вечные драки,
и вирши погладить давно бы пора бы, пора...
И с прелестью злой и вовсю нелюдимой собаки
лизнуть твои руки, как будто лицо топора!

АКВАРЕЛЬ СЕРДЦАМ НЕВИННЫМ

Души безумной рваные коленки.
Что Фауст приземлиться ли слезам
чтоб запечатать тёплые конверты,
где дышит молоком моя Рязань?
Какой бы смертью нас ни занесло
в такие отдалённые селенья
мы души собираем, что шальнее
и обучаем нашим ремеслом.
Какой испуг страною нынче правит?
Кто князь, кто оскандалил в облаках
закушенные губы наших правил,
и пьяную надменность в кабаках?
Кто там решил, что я от сладкой жизни
на ветреной петле уже женат?
Что стал я непригожим или лишним
на той земле, где видел стыд и блат?
А на Руси такая благодать –
Царь-пушка на Царь-колокол глазеет
метель мою любимую лелеет
к Антихристу в трамвае едет блядь,
и сердце бьётся глупеньким трофеем
уставшим вопрошать и бастовать...
А на Руси такая благодать!
А мы смеёмся – старые игрушки
и кружится Москва, как та пластинка,
где колокол плевать хотел на пушки,
а на царя ему и так простится.
Мы кажем зубы Рождеством с крестами,
но замечаем с болью, может юношеской –
что люди и молиться перестали,
где был собор, там новые конюшни.
Да, что там говорить,
и конь уж редок там...
железные животные колдуют,
и в бойню превратили лучший храм,
в бассейн там превратили лучший храм,
и дети сатаны вовсю ликуют.
За выбитые зубы просят хлеб,
уроды хлеб шакалят за уродство,

а каждый смерд и нищ и наг и слеп,
глазок тюремный превратили в солнце.
Они уже на небо не глядят,
для них и небу негде ставить пробу,
О, где же ты, который был распят?!
по-моему твой час настал и пробил.
Но шмон идёт по всем твоим краям,
они ещё успеют, да успеют
всех лучших потерять как якоря
в сырую землю, в самый час успенья.
Подпольные правительства – тоски
и основоположники – печали
откроют правду ржавыми ключами,
где гении шумят как колоски
и пожимают робкими плечами.
Вот так страна, какого ж я рожна,
...чужой женою с четвертинкой водки,
спешит напиться, а когда волна –
упасть на дно моей безумной лодки.
И требовать ромашек, да венков...
клятв... будто пирамид в пустыне,
но до любви, конечно, далеко...
хозяева угрюмых псов спустили.
Цветы не пляшут на моём лугу
и навестив потусторонни земли
она уйдёт другие трогать семьи
и чёрной кровью кашлять на бегу.
Подайте офицерского вина,
подайте виноградную обиду...
давайте выпьем за кусок отбитый
от колокола с именем – финал.
Пусть нас в лукавых землях проклянут,
испепелят, но лишь глаза проклюнут,
я в книгу *Жизни* робко загляну
и подмигнув, победоносно сплюну.
Теперь мне хоть корону, хоть колпак
...едино – что смешно, что гениально...
я лишь хотел на каждый свой кабак
обзавестись доской мемориальной!!!

ДУЭЛЬ С РОДИНОЙ

Светлой памяти Юрия Галанскова

В сентябре вода прибывает.
В сентябре гробы забивают.
В сентябре мой окунь спешит.
В сентябре молодкам грешить.
В сентябре шакалит рассвет.
В сентябре сдаётся браслет.
В серебре дверей постою.
В сентябре врагов засолю.
За унылым солнцем рыбачь,
накорми кормилиц страной
там, где бьются рюмочки дач,
разливая август блатной.
И, наверно, сторож мой пьян
и с моею бабой хитёр –
отпустил гулять по полям,
отпустил плевать на костёр.
Я такие шутки ебал
в стороне от медных лопат.
Я всю жизнь тоску зарывал,
да смеялся Понтий Пилат.
Упаду на мраморный стол,
упаду на Лермонтова.
Михаил! Труба – это вздор!
В ожиданье ввергнуты!
Кто спешит, спешит по следам?
Подстрекатель, голос-мороз
ах, как жизнь и грудь разметал.
Секундант, к вам в гости – погост.

А моя дуэль – не моя
и маячит вниз головой.
Я за львиной долей ручья
притворился спящей совой.
Ах, моя дуэль – нет дурней.
Семь шагов не пройдено.
Это жуть – дуэль, это гром – дуэль.
Мне стреляться с родиной.

Я на пу... на пулю иду,
я молю мамулю в бреду.
Помолись, отшельник, и тут
преклонись – ошейник в виду.
И в районе сказочной лжи
для победы скатерти сторожи.

Эх, Россия, кровь или дым,
пусть порвёт толпа тебя на бинты,
чтоб остался я, жил и жил,
чтоб осталась ты, пуля в жир.
И во всех церквях прозвонят,
и закроют школы – молебен!
И стихи мои прозвенят,
а тебе дадут красный гребень.
Порошок ли сонный не спрошен?
Пять минут подумай о прошлом,
кандалы попробуй на зуб –
всё к тебе фальшивых везут.
У твоей кровати не спят,
у твоей подушки – всё служка,
и четыре века подряд
у кривой петли – мелочь в кружку.
И задушен тот, кто надушен.
Пять минут! Заход! Только слушай.

По всем твоим каменным сводам и сваям,
по всем твоим траурным спорам и сворам
дуэль превратилась в позорную свадьбу
Морозовой в шубе с раскольником голым.
По всем твоим гадким арестам. На место!
По всем твоим шатким глазам для невесты
носили свой крест и мешали для теста
Григория голову... ангела крестным.
По всем твоим дулам и думам, и дамам,
по всем чертежам голубого удара,
по всем мостовым, где смеяться охота,
пройдёт анекдотов слепая пехота.
По всем, где записки сложила не в жилу,
по всем подлецам, для которых служила,
по всем, кто опять барабан и гримаса,

по всем, кто примазался или при масле,
я кровь разотру и на белом и чёрном
я сделаю каждого вас кумачовым.
Пусть кто-то кричит и бренчит кулачками...
Я бусы плету, я знаком с дурачками.

Белым мальчикам гулять, голосить.
Бледным мачехам цветы выносить,
занавешивать иконы с утра,
ах, только пудра в это время мудра.
Белым мальчикам стаканы крошить.
Белым мальчикам отцов прогонять.
Белым мальчикам на белом – не жить,
все их губы для меня, про меня.
К белым мальчикам я в чёрном пальто
приглашенья на дуэль разнесу.
А они потом возьмут долото –
деревянный мой конвой разнесут.

Молодцы, что для меня йод просили,
популярнейшие века, веки пленные,
Дайте сдачу мне с убийства России,
у меня с собой одни неразменные.

И гудят колокола – кар... кар...
И опричники поют – скор... скор...
И откроют вам в Москве, здесь, бар.
Вы там будете хлебать кровь, кровь!
Ну а в пятницу и в пять, всего вернее,
я, Россия, при честном народе
грохнусь пред тобою на колени
там, где кровь и всё лицо колотит.
Если есть чеснок, он есть и в ангеле.
Ангел – это ты и Модильяни...
На меня прищурится Евангелие
там, где всех апостолов деяния.

Раздевайся, Вера, это – ночь.
Раздевайся, это лишь начало.
Ведь Россия – ни жена, ни дочь,
ты напрасно на меня кричала.

Когда я выбью шестёрку, ты похвастаешься вальтом.
Ну а там, где бульвары сиренью махровою мокнут,
целый будущий век продают пуговицы с моего пальто,
и идут с молотка мною где-то разбитые окна.

ЧАЕВЫЕ ЧЁРНОЙ РОЗЫ

Прошлое! Пусти меня, пожалуйста, на ночь.
Это я, бьюсь бронзовой головой в твои морозные ставни.
И закрой меня на ключ от будущего напрочь,
умоляй, уламывай... Может, лучше станет.

Я помню себя, когда ещё был жив Сталин,
пыльную Потылиху, торт Новодевичьего монастыря,
радость мою – детство с тонкой талией,
в колокольном звоне – учителя.

О, я не такой уж плохой, прошлое.
Я забыл математику да Окружной мост,
а ещё я не помню то пышное пошлое,
за что во всей округе поднимали тост.

Я не виноват, да и ты, наверное,
стало подслеповато, как зеркало Дамы Пик.
За тремя картами я хочу наведаться.
Неужели настоящее – дабы пить!?

Прошлое! Отдай мне их, три шестёрки.
Три дороги легли на моём пути.
Моя муза в расстёгнутой гимнастёрке
и с цветами невинными на груди.

То ли пьяной солдаткою на ночь тянет,
то ли лёгкой принцессою в травах тонет…
Мужики избегались: в чём тут тайна?
Извелись, изнервничались, будет то ли

Ещё… Нет, нет, нет, я не Васнецо-
вский витязь. Этот так и не уедет от камня.
Я знаю, прошлое, вас в лицо,
забрызганное сиренью, а не синяками.

Прошлое, дай мне три карты, живой воды,
о четвёртом тузе позаботится шулер.
Наша дама убита, но нет беды,
это ваш банкомёт неудачно шутит.

Прошлое, у меня остался ещё один туз,
и у этого туза – лицо церкви.
Ну а Даме Пик мы подарим, как груз,
золотые звонкие злобные цепи.

А чтобы не всплыла старая тварь,
положи на неё бубнового мальчика,
пусть вспоминает сексуальный букварь,
а мы пока потрепемся здесь, на лавочке.

Прошлое, ты думаешь, я жалуюсь на настоящее?
Боже упаси, нет мысли глупей!
Прошлое, я жалуюсь на царя ещё,
На талант свой жалуюсь, на друзей.

Прошлое! Я жалуюсь на тысячу истин,
мне ль их разбирать – Христос я, Будда что ль?
Прошлое, мы все покроемся листьями
или обрастём великим будущим!

Говорят – не пей так много водки.
Говорят – не бей расхристанных девок.
Где же ты, моё детство в розовой лодке?
Ничего не надо… ни слов, ни денег.

Прошлое! Я просто пришёл погреться,
мы с тобой за чаем сыграем в штосс.
Затонуло в розовой лодке детство.
– Что???

Детство, говорю, затонуло в лодке!
Помнишь, без гранита была река-то?
Прошлое! Давай с тобой хлопнем водки
и отдай, пожалуйста, три карты!

Бережёт меня Бережковская набережная,
и царевна Софья Дьяволу молится.
А четвёртый туз горько и набожно
у Москвы-реки в зеркало смотрится.

ДВУХСТВОРЧАТЫЙ СКЛАДЕНЬ. XX ВЕК. ПЕРВАЯ СТОРОНА

Церковь не умеет летать. Не умеет летать церковь
с целою пригоршнею музыкальных денег.
Ну а я в тебя не умею целиться,
и всему виной – ресницы девок.

Обо мне, наверно, сложены легенды.
пью и пьют насмешек сладковатый пунш
анекдоты в тюрьмах, проститутки в лентах,
и шуршат за лифчиком списки мёртвых душ.

Я перебинтован юными берёзами
и помазан йодом солнца заходящего.
Я – однофамилец ледяных и розовых
и, быть может, тёзка – ландыша пропащего.

Хорошо в телеге мне с румяной бабою,
на подол ей голову васильком забросил.
Мои губы грешные всё по лицам плавают,
как челны разбойников, собирая осень.

Я не дорожу ни ремнём, ни ревностью
и в стеклянных бусах отражаюсь траурно,
и живу за именем, словно бы за крепостью,
деревянной крепостью, где врата отравлены.

Мы забыли проводы всех своих любимых,
ангелом хранимых и смертельно раненных,
если даже письма болью заминированы,
и на глупой марке штамп чужого рая.

Я надену маску пастуха и принца,
в лимузине старом буду пить какао,
двойнику замечу: «Лучше удавиться,
на века остаться символом кокарды».

Черновик ли брезгует с бардаком знакомиться,
или всё холодное в плен отдали водке?
Голова ли кружится сельскою околицей,
там, где перевёрнуты и слова, и лодки.

Ладно, я умею в переулках теплиться,
золотою свечкой жить на подоконнике.
В шоколадном платье голубая девица
соберёт свидания в молодые сборники.

Я бы дал названия каждому, каждому.
Что-нибудь придумал – лёгкое-лёгкое,
пусть свиданьеведы по подвалам кашляют –
первый сборник – «Патлы», второй сборник – «Локоны».

В день рожденья совести опрокину рюмку
робкого совета, пьяного начала.
А потом родившейся на святую юбку
я пришью загадки с ржавыми ключами.

Будет пахнуть клевером, резедой, укропом
и другими разными травами, цветами.
Третий Рим в насмешках, Третий Рим в сугробах,
и с губной помадой вымерли свиданья.

Мы давным-давно сожгли шпаргалки смерти.
Строчат мемуары лживые напарники.
Бросьте мне за пазуху бронзы или меди
я коплю на памятник у души на паперти!

РАСПЯТИЕ С ЭМАЛЬЮ

Когда-нибудь настанет время, и кисть вашего сквера
украсят мои потомки, как редкий браслет!
Они будут прекрасны, как рассыпавшиеся на бегу бусы.

Когда-нибудь развалины твоего дома
отнесут к моему архиву.
Когда-нибудь при одних глазах и при наличии грусти
ты выгонишь мужа, почувствовав мою усталость – там.
А румянец перечеркнёт диктант и улыбнется: ведь я – тут!

Когда-нибудь на перекрёстке трёх дорог,
как подбитая ласточка, забьётся автомашина,
а шофёр будет браниться, как шлюха,
наехав на могилы детей наших.

Когда-нибудь на этой земле потеряется кладбище,
на котором я буду зарыт.
Потеряется – как единственный адрес в спокойствие.
Гвоздики будут мяться, тереть ноги, и не знать – куда же идти?

Когда-нибудь набережную, на которой я родился,
будут охранять перистые облака моих насмешек
и колокольный звон пощёчин.

Когда-нибудь с моим именем будут склеивать
международные скандалы и отменять смертные казни.

Когда-нибудь все мальчишки России
зарастут моими стихами так,
что махнут на них рукой все цирюльники!

Когда-нибудь все «погоны» будут охотиться за пацаном,
который бегает в моём музейном свитере
и уже запер мать, которая его выстирала.

Когда-нибудь отвезут за город
мою последнюю чернильницу и… взорвут,
чтобы никакой грач не мог макать в неё свой хвост.

Когда-нибудь пойдёт дождь, дождь, дождь…
который смоет Москву, в которой я родился.
А все птицы будут садиться на топор,
как на Ноев ковчег России.

Когда-нибудь настает время!..

Когда настанет?..

ПЕРВАЯ КЛЯТВА

И буду я работать, пока горб
не наживу да и не почернею.
И буду я работать, пока горд,
что ничего на свете не имею.

Ни пухлой той подушки мерзкой лжи,
ни жадности плясать у вас на теле,
ни доброты похваливать режим,
где хорошо лишь одному злодею.

Ни подлости друзей оклеветать,
ни трусости лишь одному разбиться,
ни сладости по-бабьи лопотать,
когда приказ стреляться и молиться.

И буду я работать, словно вол,
чтоб всё сложить и сжечь, что не имею.
И как сто тысяч всех Савонарол,
кричу: «Огня! огня! сюда, немедля!»

В плаще, подбитом пылью и золой,
пойду лохматый нищий неумытый
по пепелищам родины чужой,
как тот счастливый одинокий мытарь.

И буду я работать, пока гор
не сдвину этих трупов, что зловонят,
И буду я в заботах, как собор,
пока всё человечество зло водит

за ручку, как ребёнка, и шутя
знакомую даёт ему конфету:
«Ах, Бога нет, прелестное дитя,
и Бога нам придумали поэты!»

Но есть, есть Страшный Суд, и он не ждёт,
не тот, который у Буонарроти,
а тот, что и при жизни кровь с вас пьёт,
по щёчкам узнаёт вас при народе.

Ах, что вам стыд! Немного покраснел…
Но кровоизлияние не праздник.
Да, на врачей вам хватит при казне,
как вам хватило дров при нашей казни!

Но буду я работать, пока гол,
чтоб с царского плеча сорвать мне шубу,
когда уже зачитан приговор
и улыбается топор не в шутку.

Но буду я работать до тех пор,
пока с сердец не сброшу зло и плесень.
Ах, скоро, скоро вас разбудит горн
моих зловещих, беспощадных песен!

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОСКОЛКИ

I.

Меня будут называть антихристом в апреле
и разными другими, малиновыми кличками,
но мысли в голове немного отсырели,
как голубые импортные спички.

Я знаю, знаю, что после моего концерта
37 человек покончили жизнь самоубийством,
с кудрявой головой брели записки церкви
в кровосмешеньи волчьих свистов.

Я немного помешался на прогнозах рязанских
И, зашнуровывая лакированные чёботы,
не усмотрел, как вечер нализался
моей хмельной, моей игристой чёлкою.

Но заказал мне белые стихи
стукач Есенина, человек чёрный,
я понял, что читаю пустяки,
и я прочёл цикл, посвященный – чёрту.

И когда меня гладили прожектора
и аплодисменты я слушал, как слушал пощёчины,
я понял – почему он повесился в номерах
и перед смертью не взял расчёску.

Я понял – почему кумир проституток и бродяг
ушёл от славы к своему отцу небесному,
взял грех великий, словно бы шутя,
и Русь оставил грустною невестою.

II.

О, родина, любимых не казни,
уже давно зловещий список жирен,
святой водою ты на них плесни,
ведь только для тебя они и жили.

А я за всех удавленничков наших,
за всех любимых, на снегу расстрелянных,
отверженные песни вам выкашливаю
и с музой музицирую раздетой.

Я – колокол озябшего пророчества
и, господа, отвечу на прощание,
что от меня беременна псаломщица,
которая Антихристом стращает.

В меня же влюблена седая ключница,
любовница тирана и начётчица,
пока вся эта грязь с улыбкой крутится,
со смехом мой топор старинный точится.

И, тяпнув два стакана жуткой водочки,
увижу я, что продано и куплено.
Ах, не шарфы на этой сытой сволочи,
а знак, что голова была отрублена!

* * *

Скупцы, зловещие подонки,
кого вы ставите на полки:
какая ложь, какая грязь!
Раб после выстрела – есть князь.

Что мне в нелепой канители,
как вы построите свой храм.
Пришедший Хам на самом деле
давно подыгрывает вам.

Какие карты будут биты,
какие развлекут молитвы,
не нам об этом тосковать.
Карета подана, бандиты,
верх поднят, наши губы квиты,
и ливню нечего скрывать.

Я – яд на вашем белом блюдце.
Я – тень зловещих революций,
где к стенке ставили блядей,
где красные чулочки рвутся,
где речи ангельские льются
на похороненных детей.

Где всё теперешнее сладко,
а будущее – горький щавель.
Где пахнет царская палатка
самоубийства тёплым счастьем.

И в загорелую толпу,
как пьяный и весёлый шулер,
я имя чёрное толкну,
которое над всеми шутит!

* * *

Ни с того ни с сего
чай забыт, дом забит.
ни с того ни с сего
слякоть волчьих молитв.

На ограбленных – ветр,
на загубленных – ад,
кто там врёт – что в нас свет,
да не свет в нас, а блат.

С подземельных вершин
слёзы капают на
неизвестной души
золоты стремена.

День в тельняшке моей,
а тельняшка в крови.
Семь небес, семь морей
стоят губы мои!

БЕРЕСТА ОТРЕЧЕНИЯ

...Сказав: вот эта пыль – Москва, быть может,
А эта точка пыльная – Чикаго.

Велимир Хлебников, 1921–1922 гг.

За пять минут бархата я уже успел дойти до самоубийства.
Меня переполняла петля, как Петра Первого переполняли шлюхи.
Он велел выполоть церкви, он стоял как сахар в грязном стакане России
и не таял, не растаял и до сих пор.
Я кричу ему: «Пётр!.. Пётр!
Зачем лестницы сюртука на пороховой погреб зазнайства?
Разве эпилепсия – пена преобразований?»
Кто-то поставил три свечки и тоже умер.
А я ушёл в лес и захотел таять вместо Петра Первого.
Я заплатил волку дань убежавшей монашенки.
Я выбросил обручальное кольцо, на котором застряло тело.
Но снег был намного тяжелей подбородка –
он всё таял и таял, он всё падал и падал.
Он облепил меня с жадностью любовницы,
у которой выпали зубы мудрости.
Я шёл, как статуя, и лишь серебряный крестик,
как колокольчик на шее заблудшей овцы,
выдавал моё громкое бегство.
Звери, встречавшие меня на пути,
от страха крестились, а потом переходили на молитвы,
как будто доставали по блату лишний гроб –
теперь на меня молятся и будут молиться до тех пор,
пока последняя поклонница не украдёт мою медную могильную плиту,
чтобы закрыть, наконец, закрыть, наконец...
чёрную, кисло дующую щель бессмертья!

ЭТЮД НА ХУТОРЕ ГРУСТИ

Мой буфет носит стеклянные волосы,
моя мать – бубновый голос,
а мои свидания – звон пощёчин.

А я ношу вспоминания,
как у меня была мать с бубновым голосом,
буфет со стеклянными волосами
и свидания, подпоясанные звоном пощёчин.

А на всех на нас смотрит смерть,
как та циркачка на пепельном мерине,
полуслепыми, полубелыми глазами потаскух,
которые так нас хотят, но уже не могут.

КАПРИЗ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Иди сюда,
мой раб!
мой котёнок!
Целуй мои пятки.
Целуй мои пятки,
целуй.
И если окажется, что пить нечего,
иди сюда, мой раб, мой котёнок.
Вокруг тебя белые-белые мухи,
и вокруг меня белые-белые мухи…
Вот одна села на глаз, другая на бровь,
а эта – на кровь Господа.
Они кружатся, а я веду тебя дорогой
самоубийц и воров, вечерней школой
в серебряных шпорах.
А впереди меня пляшет жёлтая скрипка,
а позади меня – овраг сумасшедших,
и зелёный мой крест, как лавочка,
и зимой на колени ко мне садятся
красные гуси да лебеди.
Я поведу тебя золотою дорогой
к старому принцу в розовом платье,
к дряхлой часовне.
Я поведу тебя старой дорогой
в розовом платье, к милому принцу
к звонкой часовне.
Иди сюда, мой раб,
мой котёнок,
целуй мои пятки,
целуй мои пятки,
целуй!..

* * *

Над питейным домом
дым стоит лопатой.
Пахнет пятым томом
и солдатским матом,
и зимой сосновой
в кабаках хрустальных,
и бессмертным словом:
«Как же мы устали!»

ШАЛАШ НАСТРОЕНИЯ

Всё будет у меня – и хлеб, и дом,
и дождик, что стучит уже отчаянно,
как будто некрещёных миллион
к крещёным возвращается печально.

Заплаканных не будет глаз одних,
проклятья миру этому не будет.
Благословляю вечный свой родник
и голову свою на чёрном блюде.

И плащ, познавший ангела крыло,
и смерть, что в нищете со мною мается,
простое и железное перо,
которое над всеми улыбается.

А славе, беззащитной, как свеча,
зажжённой на границе тьмы и тленья,
оставлю, умирая, невзначай
бессмертные свои стихотворенья.

Всё будет у меня – и хлеб, и дом,
и Божий страх, и ангельские числа,
Но только умоляю: будь потом,
душа, отцеловавшая отчизну!..

* * *

Природа плачет по тебе,
как может плакать лишь природа.
Я потерял тебя теперь,
когда лечу по небосводу

своей поэзии, где врать
уже нельзя, как солнце выкупать,
где звёзды камнем не сорвать
и почерк топором не вырубить.

Природа плачет по тебе,
а я-то плачу по народу,
который режет лебедей
и в казнях не находит брода.

Который ходит не дыша,
как бы дышать не запретили,
которым ни к чему душа,
как мне мои же запятые.

Природа плачет по тебе.
Дай мне забыть тебя, иначе –
о, сколько б смеха ни терпел,
и я с природою заплачу!

* * *

Задыхаюсь рыдающим небом,
бью поклоны на облаке лобном.
Пахнет чёрным с кислинкою хлебом.
Пахнет белым с искринкою гробом.

По садам ли гуляют по вишенным
палачи мои с острым топориком?
По сердцам ли шныряют по выжженным
две невесты мои, как две горлинки?

Молодятся молитвы на паперти
согрешившей души и отверженной.
Ах, с ума вы сегодня не спятите.
Спите, будете крепко утешены.

Я не верю ни чёрту, ни дьяволу,
и в крапиве за древней избушкой,
как невеста, зацветшая яблоня
кое-что мне шепнула на ушко.

Я поднялся к ней пьяно-оборванный,
как ромашка, от ветра покачиваясь.
И как будто держали за горло,
я прослушал всё то, что назначено.

И сказала она удивительно,
кротко, просто, а значит, искусно:
то, что стал я писать ослепительно,
то, что стал я так пить, это грустно.

То, что стал я хулой тёмных всадников,
то, что стал я хвалой падших ангелов,
что пьют водку и в светле, и затемно
и шабят «Беломор» в мокрых валенках.

И на плечи дала мне огромного
ослепительно-вещего ворона.
Он в глаза посмотрел мне холодные,
а потом отвернулся в ту сторону,

где стояла босая и белая,
майским градом ещё не убитая
и весна, и любовь моя первая
со своими немыми молитвами.

Вся в слезах и как будто в наручниках –
кисти рук у неё перевязаны,
со своими подругами лучшими,
со своими лучистыми сказками.

Нет, они от меня не шарахались,
а стояли в молчании скорбном,
как невесты царя, что с шалавами,
с шалопаями встретятся скоро.

На плечах моих ворон не каркнет,
на устах моих слово не вздрогнет,
и летит голова моя камнем
к их стопам, где слезами намокнет.

Сохрани и помилуй мя, Боже!
Сокруши сатану в моём сердце.
Неужели удел мне положен
там, у печки, с антихристом греться?

Сохрани и помилуй мя, Дева
и Пречистая Богоматерь!
Пока губится бренное тело,
пусть души моей смерть не захватит.

Сохрани и помилуй в восторгах
меня, грешного нынче и грязного,
под холодной звездою Востока
и с глазами ещё не завязанными.

Мы повержены, но не повешены.
Мы придушены, но не потушены.
И словами мы светимся теми же,
что на белых хоругвях разбужены.

Помяни нас в Своё Воскресение,
где разбитой звездой восклицания,
где и пьяный-то замер Есенин,
все свиданья со мной отрицая.

Пусть хоть был он и мотом, и вором,
всё равно мы покрепче той свары.
Всё равно мы повыше той своры.
Всё равно мы позвонче той славы.

Соловьёв на знамёнах не надо
вышивать. Выживать нам придётся,
как обрубленным яблоням сада,
как загубленным ядом колодцам.

И пока не погасло светило
наших дней, обагрённых скандалом,
ничего нас с тобой не смутило,
ничего нас с тобой не судило,
да и слово сиять не устало.

Разлучить нас с тобою нелепо,
муза, муза! В малиновом платье,
ты – Мария Стюарт, и на этом
всё же вышьем мы царскою гладью,

что концы наши в наших истоках
и что нет отреченья и страха.
Каждый стих наш – преступной листовкой,
за которой костёр или плаха!

Пусть бывает нам больно и плохо,
не впервой нам такие браслеты.
И зимой собираем по крохам
нашей юности знойное лето.

Что же скажет угрюмый мой ворон?!
Ничего. Просто гость и не больше.
Ничего. Просто дикая фора
слова, жившего дальше и дольше.

Вот и всё, да и тайн больше нету.
Музы, музы, покатим на дачу.
Задыхаясь рыдающим небом,
о себе я уже не заплачу!

* * *

Что ангел мой родной мне пишет?
Что Бог к моим страданьям шьёт?
Я чувствую тебя всё ближе,
холодной грусти переплёт.

От этой истины, ручаюсь,
с людскою ложью водку пью.
На славу царскую венчаюсь
и славы царской не люблю.

А забинтованной женою
идёт Россия по холмам
церквей, засыпанных золою,
где кости с кровью пополам.

Моё чело чеканит стужа.
Моё перо таскает враг.
Я навожу приятный ужас
лишь стопкою своих бумаг.

Вас ждёт Антихрист, ждёт Антихрист
и чавкающим стадом – ад.
Я умоляю вас – окститесь,
очнитесь, и сестра, и брат!

Кто может здесь ещё молиться –
пусть молится. Иначе – плен.
И от зари и до зарницы
вы не подниметесь с колен.

И зверь иконой будет вашей
по всей земле, по всей земле.
И будут гарцевать по пашням
немые *всадники во мгле*.

И вашим мясом, вашим мясом
откормят трёхголовых псов,
и кровью вашей, словно квасом,
зальют тюремный ваш засов.

Глаза мои бы не глядели
на вашу землю в эти дни...
Но вот мы с ангелом летели
и плакали, что мы – одни!

* * *

Я тебя забываю...
Забываю тебя!
Словно в гроб забиваю
жёлтый труп ноября.
Ничего я не знаю,
да и знать не хочу,
я тебя задуваю –
золотую свечу!
И навек ли, не знаешь?
Эта осень в красе...
Ты во мне умираешь!
Умираешь совсем.
А душа моя – бойня
злых и сочных обид,
и впервые так больно
от горячих молитв!

* * *

На последней песне я умру.
Не с кем будет и поцеловаться.
Горько одинокому перу
с тёплою рукою расставаться.
На последней песне, где игра
пущена в расход, где слово каждое,
как солдат, что не кричит «Ура!»,
а идёт по трупам, кровью кашляя.
И меня оденут в сладкий дым
грозовых легенд и примечаний,
я ведь был когда-то молодым,
этого они не замечали.
Поломали соколу крыло,
замолчали высоту и хватку.
А могильным холодом свело –
записали в первую десятку!..

Воробьи! Воробушки мои!
Я не по летам напился крови.
Только разве церковь на крови
листовым железом хуже кроют?
Может, плохо службы там ведут,
или же звонят не как положено?
Чуют, чуют… на свою беду
возводили мастера хорошие.

Я теперь, как утренник, пою,
всё своё по вечерам глаголю –
о, как жаль мне родину свою
видеть и забытой, и нагою.
О, как жаль мне неразумных чад,
если с ними не случится чудо.
Крепко спит Россия – мёртвый час,
даже церковь не приходит в чувство.
И стоят сироты без креста,
неумыты, биты и ободраны.
И немы без языка уста,
и ворам на поруганье отданы.

Заблудились вы по городам,
в собственном селе вы заколочены.
Что же, храму – храм!
А хаму – хам!
Так ведь вам и было напророчено.

Но настанет, верю, светлый день.
Безымянный! Ангельскою властью.
И спасаться будут в вашу тень,
только в вас искать земное счастье.
Молния осветит этот мир,
молния его и уничтожит!
И увидят все – каков кумир!
И воскликнут в страхе все: О, Боже!..

Падшие на лица в тлен и грязь
сохранят души своей святильник,
остальных испепелит мой князь
и возьмёт ледник на свой могильник.
Вот тогда-то в жуткой пустоте,
от знамений частых обезумев,
те, что сохранились в чистоте,
новые иконы нарисуют.

На последней песне я умру.
Доживу ли? Нет ли? Что скрываться!
Эта песня Богу и Добру
Ангельскою будет называться!..

* * *

Я сам изгой – но не предатель.
Куда я убегу? Зачем?
Прошу! Спаси меня, Создатель,
от суеты любых систем!
Ключи развесив по карманам,
я поднимаюсь на чердак
лишь потому, что я Губанов,
а значит, мне милей чудак...
А чудакам закон, известно,
не писан. Значит, не беда.
Усевшись в бархатное кресло,
Диктует мне сонет звезда.
Венок на голову примерю,
луну в окошко заманю,
не буду поклоняться Зверю,
Изверюсь, но не изменю
Афине, Бешеной Палладе:
зевающего Зевса дочь
опять в разорванном халате
Со мной, со мною в эту ночь!
Я заварю покрепче чаю
На горьких веточках олив
И Мудрость сладкую с печалью
Впущу, окошко отворив!

* * *

Ресницы взмахивают вёслами,
Но не отплыть твоим глазам...
Как пасынок, иду за звёздами
И никому их не отдам.
Моя душа – такая старая,
И сам уже не молодой.
Я – Рим с разрушенными статуями
И небо с розовой звездой.

* * *

Я отправил себя в опалу,
Чтобы пуля не закопала,
Чтоб петля не свилась с кольцом,
Я закрыл у Судьбы Лицо.

Пару кисточек, сигареты
Я на мрамор рук положил.
Помяните меня, поэты!
Я ведь тоже когда-то жил…

ПЕРЕВОДЫ НА ИТАЛЬЯНСКИЙ
МАССИМО МАУРИЦИО

Массимо Маурицио (итал. Massimo Maurizio) – итальянский литературовед, переводчик.

Родился в 1976 г. в Турине. Окончил филологический факультет Туринского университета, в Миланском университете защитил диссертацию по творчеству «Лианозовской группы». Доцент Туринского университета, преподаёт русскую литературу и русский язык (перевод). Составитель и переводчик антологий «La massa critica del cuore. Antologia di poesia russa contemporanea» (Милан, 2013), «disAccordi. Antologia di poesia russa 2003–2016» (Бари, 2016), «Orbìta. Deviando sollecito dalla rotta. Antologia poetica dalla Lettonia» (Бари, 2017), книг А. Сен-Сенькова, Н. Ключарёвой, С. Ханина. Автор комментированного издания «“Беспредметная юность” А. Егунова: текст и контекст» (М., 2008), монографии «Prossima fermata Cremlino: percorsi reali e immaginari nella Mosca letteraria» (Ачиреале – Рим, 2011), около 50 иных научных публикаций.

DAL POEMA «POLÌNA» (frammento)

Polìna, sei il mio laghetto nel ghiaccio!
La neve, se ama, modella i suoi luoghi,
E io sono un cigno che nuota e si muove
in te, che hai scordato chi sono e che faccio.

Polìna, sei il mio laghetto nel ghiaccio!
A un cigno insensato in fretta t'avvezzi
Non riesci a capire il tuo chiuderti a riccio,
e quanto il tuo buio ti crucci, o tristezza,
e quanto fa male il silenzio di ghiaccio.

E scende la neve: è tormento o tormenta?
E vede che il bosco ha avvolto la notte,
che i cigni, spiegate le braccia nel vento
dai luoghi di sempre s'involano a frotte.

Si dolgono donne coperte di scialli
e sprizza il gelo dai loro polmoni,
perché il secondo emisfero culli
granelli di candida disperazione.

E sopra le teste di mamme e di mogli,
come su terre emerse e su scogli,
s'involano, gridano, curvi dal male,
nei lidi dell'arte, oltre il caldo del mare.

Noi v'abbandoniamo, donne, noi tutti
Come la Rus': che col gelo balocca
e anche se vi ardono betulle negli occhi
noi v'abbandoniamo, donne, noi tutti.

Siamo cigni e dobbiamo andare
A scrivere, far stridere le ruote e a cambiare.
Non voglio domani patate o cambiali,
m'involo alle dieci di sera, vi lascio:
perché le vene se ne fregano se abbia
nel rosso del bosco una coscienza l'ascia.

Quando per le strade il calore si ritira
E i corvi predicono calamità,
le isole del globo diventano respiro,
le isole dei cori disabitati.

Scordate le donne e i borselli, le mani
attendono sulle tempie di Ufà che franino
i pensieri dopo un terremoto immane
sulla zattera di una strofa, vetusta e pavida.

Anima mia, sei brace e sei argano.
Un luogo di passaggio del dolore di tutte.
Ma sussulti al tossire delle prostitute
Come a un chi va là coloro che vagano.

Sei calorosa e verde dopo tutto,
E ferrata in fatto di rime.
Io dormo come un Esenin distratto,
con la Rus' sotto il capo a mo' di cuscino.

<…>

Già, a noi gonfi e feriti, oramai
acri come zuppe, e fumanti,
di nuovo ci crocifiggono ai telai
di un destino che nessuno ha mai dipinto.

37 per 37 è la tela,
la cornice ha la stessa misura.
Non moriamo di cancro, noi, di sicuro,
e d'ozio non moriamo nemmeno.

Siamo seminatori. La pioggia giungerà,
e coprirà il prato dove crescono le erbette,
dove piange, estivo, Levitàn,
la Rus' la capiscono soltanto gli ebrei.

Tu sei un cigno, un'albanella, ma
Noi, come fosse la prima stricnina,
siamo attesi da isole di Sant'Elena
e nei nostri ego scontiamo il confino!

Dobbiamo sudare ancora e spesso
E, sbronzandoci del corpo dei concetti,
Chiedere dobbiamo al pianeta il permesso
D'avere una genialità altrui ed abietta!

<…>

Abbasso il vostro foro, o nullità,
Non nascondete le teste nei baveri,
mediocri, senza dame siete poveri!
Al diavolo la tua ereditarietà!

Quando andiamo a sbattere col cuore
Là, dove nascono pensieri come germogli,
ci soffocano le donne, le donne, allora,
e tristezza e bassezza, menzogna ed imbrogli!

<…>

Quando i geni dal bruciore son distolti,
e si rapprendono come carne viva le tinte,
vanno via di notte da mogli e da soldi
verso il plenilunio dei loro dipinti.

Impiastricciare il mondo, ma col sangue delle vene!
Dimentichi di sogni, di promesse e di inganni.
Per morire da sempre, come si conviene,
Tra le braccia celesti del cavalletto se ne vanno!

Tu, Polìna, mi attiri e mi catturi
con una tavolozza di letizia e sensatezza,
occulti le tue spalle come l'iride e disprezzi
i miei versi come fossero diluvi.

Se come un papavero però tu ti chini,
sfiorisci e cadono le tue labbra sul mio viso,
come il tuo prato io vado in rovina,
e le donne mi fanno una pietà senza fine!...

Gennaio 1964 (red. 1977)

* * *

Sono un dono divino, i miei scarabocchi a aizzare
sono pronto: un sorriso dei salici, e contro gli zar, e
mugghieranno: "la spiaggia, la nostra amata spiaggia",
le spalle bianchissime cingerà in un abbraccio,
verrà l'acquazzone pacato e rosso di labbra.
Bagna il tuo viso e ardi nell'acqua che scorre su te,
crea e plasmati come scultura in un atelier:
presto tepore darà l'acquazzone di labbra.
Presto di solitudine macchiato e marcato
fuggirò dalle mezze misure, io me ne vado
a ascoltare con i calcagni da rime forgiati
le silenti tragedie di tutte le strade,
a battere il palmo con quello dell'oca,
immoto ad attendere l'ora che i pastori gravidi
di Rus', per il gran dolor che li angoscia
le mandrie di parole alle mie labbra guidino.

1963

* * *

I bianchi cavalli degli astri su Mosca la bella s'innalzano.
Afflitto la soglia ho passato di svelti meriggi di spazio.
Nasceva di stagnazione lo stagno con erba ed uccelli,
nasceva la fornicazione, sbirciavano le sentinelle.
E c'era odor di vitelli, d'affreschi divini, di messe,
stupiva della taverna la prosa sobria e dimessa
e lacrime lattee scuotevano le donne furenti
sembrava che le betulle le avessero svezzate da infanti.
Sollèvati, o mio bracciante dorato, alzati, o verbo.
Il fiume prega impazzito, è ferma la vita dell'erba.
Io scendo, come in una cantina con botti di vino,
giù, tra la follia e l'ebbrezza che è dentro il tuo sguardo divino.
Voglio oggi che divine canzoni gitane mi rendano perso,
per scordare me stesso… e soltanto per caso
Sentire sopra il lampone del labbro quella tua Persia
a cui il Demonio credeva, alla quale credeva anche Ràzin.

* * *

Io comanderò delle tenebre il regno,
colui che di me si vorrà vendicare
la blusa strappata dall'Ovest maligno
coperta di sangue saprà ritrovare.
Io comanderò l'ombreggiare sul volto
e poi le carrozze di dissolutezza,
dove carte vincenti che altri hanno colto
prendono a calci grandezza e ricchezza.

Io reclamerò, comandandone le anse
i fiumi nei quali si battezza Vendetta,
salendo per labbra fatate di mense,
andrò a pergamene listate a lutto.
Pregati gli dei, come segugi
Mi seguiranno fandonie distorte:
Che non son Caino, ma mi sono rifugi
missive d'amore che ha scritto la morte.

* * *

Io sono i sobborghi ove sono cadute
per opera vostra le teste canute,
ma il monito non vi è stato d'aiuto.
Io sono i sobborghi dov'è l'ululato
di neve e il capo non ha sollevato
la contadina agli occhi di Stalin,
dentro di me non possono restare
abbozzi di leggi e voci maligne,
io sono i sobborghi in cui i vostri ghigni
non sollevavate, voi, farisei,
in cui la Gloria di Dio, vergogna,
pendeva, appesa come Esénin.
In cui s'appressavano d'affanni i marosi,
in cui ci incensavano amanti ad ore,
in cui io fissavo la lama corrosa.
Io sono i sobborghi ove regna l'orrore.

* * *

Del cavallo afferro l'estate con le zampe storte
come una crosta di pane, e avrà fine la nostalgia.
Lo stagno bianchissimo delle tue mani mi cerca,
Quella sera e Dio, però? Quella sera e Dio?

Mi conservano, ne sono sicuro, per un domani,
negli ingressi, tra i baci di candele sommesse,
m'abbandonano come si lascia un cappotto geniale,
tirano fuori gli spiccioli, come un'inutile messe.

Me ne sto tra carezze ed aneddoti sciocchi,
Quando il grido s'involerà e gelosia verrà meno,
O grigio cavallo, grigio cavallo dei miei occhi,
qualcuno ti amerà e ti darà dell'avena.

Solo, tu non ci credere, dal terrazzino non correre via
Verso il cortile funereo di un qualche «ti amo»:
ché non saprò comperarti nemmeno la malinconia
con i denari altrui che sono di rame.

Cadono braccia come foglie, e per le case vanno
intonando canzoni con la stazza dei pony
e la gente impazzisce, la gente esce di senno,
ma al momento in cui parte i cavalli abbandona.

Nuovamente mi chiama mercante il bosco, e riporta
che sono ridicolo e ho prominenti mascelle.
Tuttavia se ne sta come un cero sul volto di un morto,
o grigio cavallo dei miei occhi, grigio cavallo.

Del cavallo con le gambe storte afferro l'estate…
È un orrore, un orrore, un orrore. Non vuole ancora
capire lo stagno bianchissimo delle tue mani,
ma Dio, allora?
ma Dio, allora?
ma Dio, allora?

Autunno 1964

* * *

Senza aspettare ordinanze da amore,
senza che separazione tu aneli
prendi le mani mie senza calore,
sporche di sangue, ma senza anelli.
Sopra le spalle candide e chiare,
senza invito e senza preghiera
stavano, intente a giubilare,
come le lapidi in quel cimitero.
Sono consumate le loro le iscrizioni
e non si sa chi vi giaccia e come
l'abbian sepolto, ma per due persone
suona soltanto un unico nome.

Alla tristezza dei miei tradimenti,
involontarie insidie, ripenso.
Una candela in questi tormenti
s'agita: di tutto conosce il senso.
Siete nel giusto, pietra, io oppresso,
e ansima e piano s'accende il camino,
– Amen! – io grido, rivolto a me stesso,
a me la campana: «Caino! Caino!».

S'è sollevato, ghigna atroce,
l'amore minaccia già dentro la fossa,
sotto la terra ricoperta di croci
sento: la colpa dei due è la stessa!
Sono felice di ciò che c'è stato,
come un pedone dopo un incidente.
Ma lo sgomento nel cuore è restato.
Per quanto ancora sarete presente?

Batte il cuore al boia nel petto,
batte, formato al bere più fosco,
per un raggio di luna batte di notte,
per una fanciulla tenera – nel bosco.
Mentre non s'è abbattuta ancor l'ascia
Scopro di nuovo ciò che sono io.
Peccato che non vi ho detto addio,
quando amandovi ho preso quell'uscio.

Senza aspettare ordinanze da amore,
senza che separazione s'aneli,
sotto il vermiglio flauto d'aurora
di scienze occulte ho strappati i veli.
O, peccatrice dal volto innocente,
vergine con il peccato sul viso,
vi chiamo al luogo in cui fatalmente
la separazione verrà decisa.

Vi ho giustiziate celando il dolore,
tutta la notte domando a Dio:
«ma dov'è mai l'angelo mio?!»
Male,
Sto male
Sto male ancora!..

CROCIFISSIONE A SMALTO

Un giorno verrà il tempo ed il pennello del vostro giardinetto
Sarà ornato dai miei successori come bracciale raro!
Saranno bellissimi, come una collana di perle che si rompe durante una corsa.

Un giorno le macerie della tua casa
saranno portate al mio archivio.

Un giorno con l'apparire di due occhi e di fronte allatristezza
caccerai tuo marito, avvertendo la mia stanchezza. Là.
E il rossore delle guance cancellerà il dettato e sorriderà. Io sono qui!

Un giorno all'incrocio di tre strade,
come rondine colpita, si guasterà un automobile
e urtate le tombe dei nostri figli,
il conducente imprecherà come baldracca.

Un giorno su questa terra si perderà il cimitero
dove sarò sepolto.
Si perderà, come l'unico indirizzo che conduce alla quiete.
I garofani si gualciranno, si sfregheranno le gambe e non sapranno dove andare.

Un giorno il lungofiume sul quale sono nato
sarà protetto dalle nubi piumate dei miei dileggi
e dal suono di campana degli schiaffi.

Un giorno con il mio nome rabboniranno
gli scandali internazionali e revocheranno le condanne a morte.

Un giorno su tutti i ragazzini di Russia
spunteranno i miei versi così
che tutti i barbieri incroceranno le braccia!

Un giorno tutte le mostrine daranno la caccia al ragazzaccio
che scappa col mio maglione da museo
e avrà già chiuso a chiave la madre che aveva lavato il maglione.

Un giorno porteranno fuori città
il mio ultimo calamaio e… lo faranno saltare,
chè nessuna gazza ci si possa bagnare la coda.

Un giorno scenderà la pioggia, pioggia, pioggia…
che laverà via Mosca, nella quale sono nato.
e tutti gli uccelli si siederanno sulla scure,
come sull'Arca di Noè della Russia.

Un giorno verrà il tempo!..

Quando verrà?..

UNA TAVOLOZZA D'ANGOSCIA

Ho trascorso la mia gioventù dentro case di pazzi,
dove non son riusciti a strozzarmi, e neppur farmi a pezzi,
dove non son riusciti a stupirmi… madame, non ho vezzi
di vender su pagine morte i vitali miei sprazzi.

Non mi sarà cura l'ombra sul monte, né faro il santuario,
stilla il cero sulla pergamena di guance di vecchi…
Come le fredde labbra di spada non san perdonar, io
non so creder a un fiore che un prezzo ricerchi!

* * *

Il prato sempreverde dei Suoi occhi
Sorriderà a me, sterpaglia secca,
verranno a interrogarmi con verdetti
a breve, i poemi già marchiati.
E balleranno sette déi reietti
le loro danze molto variegate
ed io andrò con àstrakan e pizzo
a scriver sulle nubi le mie strofe.
Vorrà darmi da bere un poco il pozzo,
il campo di frumento un chicco offrire,
e la betulla russa darà fama
alla mia voce, amara, d'altro mondo.
La strada tenerezze vorrà farmi,
un'altra, scalza, darmi il suo perdono,
disprezzo comprerà del pane nero
per togliermi di sazietà la voglia.
Detesto io la piaggeria del mondo,
che è di fico un'ingenua foglia,
laddove il falso è di casa ancora,
dell'impeto dei ceppi il suon si coglie.
Non lascerò le mie parole al mondo,
la testa mia, oppure il mio violino,
né virgole ubriache, manco una…
E si profonderà come Gioconda
il glabro mio legato in sorrisini,
pensando ai privilegi di qualcuno.
E che ramingo in Terra io mi perda
bagnati con la testa mia i binari,
io credo nella favolosa barda
di rime per l'eternità forgiate.
Io credo alla mia corazza fida
Che val l'arcano dei misteri tutti,
soltanto posso offrire argentee dita
a rame freddo e torba per baratto.
E se ancor per mezzo del mio verso
viandante eterno e Spirito favellano
sul nero della fronte all'universo
che splenda ancora alta la mia stella.
E chi ha inteso la mia strofa scritta
a morte senza dubbio alcuno corra:
lui sa che il cielo è la mia soffitta
in cui le notti ogni dì trascorro.

ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ КРИСТИНЫ ЗЕЙТУНЯН-БЕЛОУС

Кристина Зейтунян-Белоус (фр. *Christine Zeytounian-Beloüs*) – художник, поэт, переводчик.

Родилась в Москве в 1960 г., с детства живёт в Париже. Окончила Высшую нормальную школу и Парижский университет. Член редколлегии и иллюстратор двуязычного журнала «LRS – Lettres Russes». Перевела на французский около 80 книг, в том числе А. Пушкина, Л. Толстого, А. Белого, Г. Сапгира, В. Маканина, Б. Ахмадулину, А. Битова, Вен. Ерофеева, А. Хвостенко, Д. Пригова, И. Ахметьева. Составитель и переводчик нескольких антологий современной русской поэзии. Лауреат премии «Русофония». Русские стихи К. Зейтунян-Белоус печатались в антологии «Освобождённый Улисс», периодических изданиях «Журнал поэтов», «Дети Ра», «Нева», «Московский комсомолец», французские – в «Presages», «Encres Vagabondes». Автор сборника «Хищные дни» (Париж, 2000). Проиллюстрировала 30 книг, персональные выставки прошли в России, Франции и других странах.

* * *

Je prends l'été aux jambes torses du cheval,
comme un quignon de pain, quand le soupir s'achève.
L'étang blanc de tes mains me désire si fort,
mais le soir et Dieu, mais le soir et Dieu?

Je sais qu'on m'a mis de côté pour plus tard,
dans l'antichambre où mollement s'étreignent des cierges,
on me laisse accroché comme un génial manteau,
grattant toute ma monnaie qui est éternité.

Je me tiens parmi les blagues, les caresses,
dès l'envol des cris, quand la jalousie s'atténue,
cheval gris de mes yeux, cheval gris de mes yeux!
quelqu'un vous aimera, inventant de l'avoine.

Ne crois personne et ne t'élance pas
dans la petite cour funèbre d'un «je t'aime»,
Avec la menue monnaie d'un visage étranger
je ne m'achèterai même pas la tristesse.

Les mains s'effeuillent et vont de maison en maison
pour chanter de courtaudes chansons.
Les gens deviennent fous, ils perdent la raison,
mais n'emmènent pas de chevaux avec eux.

La forêt reparle de moi, me traite de marchand,
Amusant, aux pommettes hautes.
Mais tel un cierge au-dessus d'un visage tué
se dresse le cheval gris de mes yeux.

Je prends l'été aux jambes torses du cheval,
comme il va mal, très mal, si mal!
L'étang blanc de tes mains refuse de comprendre,
Et Dieu donc?
Et Dieu donc?
Et Dieu donc?

MERCI

à V. Lachkova

Merci de m'avoir fait connaître la prison,
merci de m'avoir fait atterrir à l'asile,
merci de m'avoir mis parmi des ombres
qui ne rêvent pas de plaques tombales.

Merci pour la lumière sous l'aisselle de l'aiguille.
Merci au cimetière, merci à la vendeuse
d'être capable encore de me traîner
un demi-siècle sans caviar pressé.

Merci pour la blancheur des os,
merci pour l'attirail rose,
merci pour la couche immortelle
merci pour les passions absurdes.

Merci pour mes yeux gris,
merci à mon amante et à mon verre.
Merci pour les icônes
qui ont bercé tous tes jupons.

Merci au ventre orange du destin
et au pain du délire nocturne.
Merci à qui ne vit plus,
à qui sera trahi sous terre.

Merci à mes amis perdus,
au craquement de l'étoile, à la sédition...
Merci à mon futur musée,
merci à mon dernier instant!

LA PALETTE DU CHAGRIN

J'ai passé ma jeunesse dans des maisons de fous
où l'on n'a pas réussi à m'étouffer ni me couper en deux,
ni même à m'étonner, aussi, Madame,
ne ferai-je pas commerce de mots vivants sur papier mort.

L'ombre sur la montagne ne me guérira pas, et l'église ne saurait me blanchir.
Le cierge coule sur le parchemin des vieilles joues...
Je ne crois pas aux fleurs qui se vendent,
comme les lèvres froides de l'épée ne croient pas à la pitié.

PRÉLUDE POUR LA MAIN GAUCHE

Merci pour l'orgueil des briques,
merci pour l'infamie des cliniques, des champs,
merci pour l'affreux Mausolée,
merci pour la bouillie de seigle.
Merci pour la malice du destin,
pour la clé d'or tombée dans le ruisseau.
Merci pour le pas cadencé
de tous les nouveaux mouchards.
Merci pour les cœurs brûlés
de mes amis qui n'ont pas baissé les yeux.
Merci pour le sourire du cadavre.
Pour la dernière fois, merci.
Pendant que vous crevez comme des punaises aux larges épaules,
gonflés du sang de ceux qui se dissolvent en reflets d'émeraude,
avec de la vodka, je vais courir les rues
pour boire à la glace fendue par tous ceux qui se noient!

ENVOI POSTAL A L'OBJET D'UN AMOUR SACRE

à Alexandre Galitch

Prie hussard, tant que le seuil est rouge,
brille et chante sur ta rosse noire,
tant que des filles aux cheveux gris te cajolent
et que le couteau ivre t'épargne.

Prie hussard, maintenant... à jamais,
grave des coeurs sur ta tabatière,
que la patrie tapote gentiment
ta poitrine sacrée de sa crosse sainte.

Prie hussard... derrière les bacs, les tonneaux,
l'éventail des cartes montre des duels,
et les nuages t'ont plaqué depuis longtemps
pendant que tu faisais tes frasques et fumais.

Prie hussard! Je vais te dire un conte
où la détente de l'arme n'honore pas le dédain
et votre honneur se mue en masque déchiré
où brillent chair et pus en guise d'yeux.

Prie hussard, les carrosses sont avancés
Prie hussard, et trêve d'arrogance,
les chevaux caracolent et sur les femmes vendues
ton amour sacrifié fait son mea culpa.

Prie hussard! au nom des filles passées,
au nom du Verbe que tu délaissas,
ton corps perdu peut-être vieillira
au fond d'une province reculée.

Prie hussard, tant que les jardins n'ont rien compris.
Prie hussard, tant que les archers n'aboient pas.
La foudre quelque part va se peindre les lèvres
pour te plaire quand l'occasion s'en présentera.

Ne restera qu'une ombre, et des cendres... des cendres,
une souche brûlée, les freux en parleront...
Ne frémira qu'un peigne de cuivre sale.
Quand on n'a plus de tête, on ne pleure pas ses cheveux!

A MA BIEN AIMEE EN GUISE DE JUSTIFICATION

Avant même la levée des lèvres
qui toussaient en cachette dans un mouchoir.
Nous avons usé une demi-Russie
qu'au son des cloches nous enterrerons.

A nos messes silencieuses
les sonnailles douces des arrestations,
les nerfs rient comme des petits garçons
et font tourner l'horizon jaune.

Signez vous à longues mains
tant que les blessés vous irritent,
tant que vous aimez être sur cette pierre
au nom inquiétant de Terre.

Où le jardin laisse pousser les ongles
de ses roses tu partiras à ton tour,
chaque patrie garde dans son carnet
les pansements sanglants des séparations.

Mémoire dorée sur la colonne
vertébrale du cheval.
Je suis sous les yeux de la cathédrale,
tu es sous mes yeux à moi.

C'est Dieu sans doute qui m'appelle
du banc d'école où le regard devient cristal.
Nous morcelons nos mains sur celles
que nous aimons et nous buvons du poison.

Mais que faire jusqu'à la messe,
tant que la voile n'est pas crucifiée...
que des exécutions en doses régulières
se déroulent dans d'affreuses cités?

La grand-mère de mon hiver
retrouve ses épaulettes vertes,
je suis gorgé de l'amour du pays
et le temps qu'il y fait me laisse de marbre.

Si peu de moi est encore passé.
Mais je sortirai malgré tout...
Au delà du là-bas on palpe les étoiles
et commence le vrai regard!!!

AQUARELLE DES COEURS INNOCENTS

Genoux blessés d'une âme folle.
Comme Faust, faut-il aux larmes se poser
pour cacheter des enveloppes tièdes
où ma ville de Riazan peut exhaler son lait?

Quelle que soit la mort qui nous transporte
en des villages reculés,
nous ramassons les âmes les plus folles
pour leur enseigner le métier.

Mais quelle peur dirige le pays?
Quel prince discrédite dans les nuages
les lèvres mordues de nos lois
et l'orgueil ivre des bars?

Qui donc là-bas décide que ma douceur de vivre
m'a déjà marié à la corde volage?
Que je suis devenu déplaisant, superflu
sur cette terre où j'ai vu la honte et le favoritisme?

La félicité règne en Russie:
le Roi Canon contemple la Cloche Reine,
la bourrasque berce ma bien-aimée
et la pute rend visite à l'Antéchrist en tramway,
et le trophée stupide du coeur bat,
fatigué d'interroger, de protester...
Et la félicité règne en Russie!

Et nous rions, comme de vieux jouets,
et tout Moscou tournoie, tel un disque
où les cloches se moquent des canons,
sans même parler des rois.

Et nous montrons les dents aux Noëls bardés de croix,
mais constatons avec une douleur trop jeune
que les gens ne prient plus,
et dans la cathédrale s'installent des écuries.
Les chevaux même se font rares d'ailleurs,

des animaux de fer nous ensorcèlent.
Un abattoir remplace la plus belle église,
une piscine remplace la plus belle église,
les enfants de Satan sont ravis.

Ils réclament du pain pour chaque dent cassée.
Les affreux implorent bassement du pain pour leur laideur,
et chacun d'eux est nu, aveugle, miséreux,
et le judas de sa prison est un soleil.

Ils ne regardent plus le ciel,
ils pensent que le ciel est souillé sans rachat.
Où donc es-tu, toi qui fus crucifié?
Ton heure a sonné, selon moi.

Mais une fouille en règle se déroule
et ils auront le temps, oui, ils auront le temps
de perdre les meilleurs, comme des ancres,
dans la terre humide, à l'heure de la dormition.

Les dirigeants clandestins de la tristesse
et les fondateurs du chagrin
ouvriront la vérité avec des clés rouillées,
où bruissent des génies tels des épis
et haussent leurs épaules incertaines.

C'est ainsi, ma patrie, par quelle obstination...
Comme la femme d'un autre apportant sa vodka,
avide d'être saoule, elle tombe sous la vague
au fond de ma barque insensée.

Elle exige des pâquerettes, des couronnes,
des serments – pyramides du désert –
mais on est encore loin de l'amour, forcément...
Les maîtres ont lâché leurs chiens taciturnes.

Les fleurs ne dansent pas dans mon pré,
et après avoir visité les terres d'au-delà,
elle ira toucher d'autres familles,
toussant son sang nocturne au pas de course.

Servez-moi du vin d'officier,
versez-moi la rancoeur du raisin...
Buvons au fragment de cloche brisé
qui se nomme final.

Qu'on nous maudisse donc en des terres malignes,
qu'on nous réduise en cendres, quand mes yeux auront germé,
j'ouvrirai timidement le livre de la Vie
et avec un clin d'oeil, je cracherai victoire.

Mettez-moi une tiare ou un bonnet de fou,
qu'importe? Ridicule ou génial, c'est du pareil au même...
Je voulais seulement sur chacun de mes bars
obtenir une plaque commémorative!
Quand on n'a plus de tête, on ne pleure pas ses cheveux!

PREMIER SERMENT

Je travaillerai à devenir bossu
et à virer au noir.
Tant que je serai fier
de ne rien avoir.

Ni coussin rebondi de mensonge écoeurant,
ni soif de danser sur votre corps,
ni bonté de louer le régime
où seuls les monstres se sentent à l'aise.

Ni bassesse de médire de mes amis,
ni lâcheté de me briser tout seul,
ni douceur de babiller comme une femmelette
quand l'ordre est de tirer et de prier.

Je travaillerai comme un boeuf de labour,
pour tout rassembler et brûler, tout ce que je n'ai pas.
Comme cent mille Savonaroles, je crie:
«Holà, du feu! du feu! et vite!»

Dans ma cape doublée de poussière et de cendres,
j'irai, mendiant échevelé et sale,
à travers les ruines d'incendie d'une patrie étrangère,
comme ce collecteur d'impôts heureux et solitaire.

Je travaillerai tant que je n'aurai pas
déplacé ces montagnes de cadavres.
Et je serai soucieux comme une cathédrale
tant que l'humanité mène le mal par la main,

tel un enfant, et lui offre
un bonbon familier en riant.
«Ah, Dieu n'existe pas, charmant enfant,
ce sont les poètes qui l'ont inventé!»

Pourtant le Jugement Dernier existe pour de bon,
qui n'attend pas, non pas celui de Buonarroti,
mais celui qui de votre vivant vous boit le sang
et qui vous reconnaît à vos joues en public.

Et fi de la pudeur! Je rougis quelque peu...
Mais les hémorragies n'ont rien d'une célébration.
Vous aurez bien assez d'argent pour les docteurs,
comme vous avez eu assez de bois pour notre exécution!

Mais je travaillerai tant que je serai nu,
pour prendre son manteau au roi
quand la sentence sera lue
et que la hache sourira pour de vrai.

Mais je travaillerai tant que je n'aurai pas purifié
les coeurs du mal et de la moisissure.
Bientôt, bientôt le clairon
de mes sombres chants sans pitié vous réveillera!

DIPTYQUE PLIANT
XXe SIECLE.
PREMIER VOLET

L'église ne connaît pas l'envol. Elle ne sait pas voler
à tire d'ailes avec une pleine poignée de monnaie musicale.
Et moi je ne sais pas te viser,
et les cils des filles en sont responsables.

On invente sans doute des légendes sur moi.
Je bois, et s'abreuvent au punch amer des moqueries
les histoires drôles des prisons, les prostituées
enrubannées,
des listes d'âmes mortes bruissent sous le soutien-gorge.

Et les jeunes bouleaux me font un pansement,
et le soleil couchant m'enduit de teinture d'iode.
Je suis l'homonyme d'un objet rose et froid,
j'ai le même prénom que le muguet perdu.

Je suis bien sur la charrette avec une paysanne aux joues rouges,
je jette ma tête comme un bleuet sur son tablier.
Mes lèvres pécheresses nagent sur des visages,
esquifs de brigands qui ramassent l'automne.

Je ne tiens pas à ma ceinture ni à ma jalousie,
dans des perles de verre je me reflète, funèbre,
vivant derrière mon nom comme dans une forteresse,
une forteresse de bois, aux portes empoisonnées.

Nous avons oublié les adieux à nos bien-aimées,
gardées par des anges et mortellement blessées,
si même les lettres sont minées de douleur,
si le timbre stupide porte le cachet d'un paradis étranger.

Je mettrai un masque de berger et de prince,
buvant du cacao dans une vieille limousine,
je dirai à mon double: «Mieux vaut se pendre
et rester dans les siècles symbole de la cocarde».

Le brouillon dédaignerait-il le bordel,
ou tout le froid a-t-il été livré à la vodka?
La tête me tourne-t-elle dans les haies villageoises,
là où les mots et les barques chavirent?

Je sais encore couver sous les braises des ruelles,
vivre en cierge doré sur le bord de la fenêtre.
En robe chocolat une fille azurée
ramasse les entrevues dans de jeunes recueils.

Je donnerais bien un nom à chacun.
J'invente quelque chose de très léger,
à faire tousser les spécialistes des rendez-vous dans les caves.
Premier recueil: Tignasse, second recueil: Bouclettes.

A l'anniversaire de la conscience,
je viderai un verre de conseil timide, de début aviné.
A celle qui est née sur sa jupe sainte
je coudrai des énigmes avec des clés rouillées.

Ça sentira le trèfle, le réséda, l'aneth,
autres herbes et fleurs.
Troisième Rome en persiflages. Troisième Rome dans les congères,
avec le rouge à lèvres meurent les rendez-vous.

Nous avons brûlé depuis longtemps les anti-sèches de la mort.
Des partenaires mensongers pondent des mémoires.
Jetez sous mon bras du bronze ou du cuivre,
j'économise pour un monument sur le parvis de l'âme!

* * *

Que m'écrit mon cher ange?
Que brode Dieu sur mes souffrances?
Je te sens de plus en plus proche,
froide reliure du chagrin qui coince.

Pour fuir cette vérité,
je bois de la vodka avec le mensonge humain.
Couronné pour la gloire royale,
je n'aime pas la gloire des rois.

Et la Russie, épouse emmaillottée,
marche sur les collines des églises
couvertes de cendres,
moitié os, moitié sang.

Le gel forge mon front.
Mon ennemi me prend ma plume.
Je ne provoque une terreur plaisante
que par la pile de mes papiers.

L'Antéchrist vous attend,
l'Antéchrist et le troupeau ruminant de l'enfer.
Je vous en supplie, soeurs et frères,
reprenez-vous, réveillez-vous!

Qui peut encore prier ici qu'il prie.
Sinon, c'est la captivité.
Et de l'aube au crépuscule
à genoux vous demeurerez.

Et la bête sera votre icône
sur toute l'étendue du monde.
Des cavaliers muets iront caracoler
à travers champs dans la pénombre.

Et votre chair ira nourrir
les chiens tricéphales,
et votre sang coulera comme du kwas,
lavant le seuil du cachot.

Et fasse que mes yeux ne puissent voir
votre terre en ce jour...
Mais nous volions avec un ange
en pleurant d'être seuls!

ECLATS DE MIROIR

Patrie, épargne ceux qui sont aimés.
Depuis longtemps l'affreuse liste engraisse.
Asperge-les d'eau bénite,
car c'est pour toi uniquement qu'ils ont vécu.

Pour tous nos pendus,
nos aimés fusillés dans la neige,
je vous tousse des chants réprouvés,
avec ma muse nue je vous joue ma musique.

Je suis la cloche d'une prophétie frigorifiée
et, messieurs, je répondrai en guise d'adieu
que la femme du sacristain est enceinte de moi,
celle-la même qui vous menace de l'antéchrist.

Et l'économe grisonnante m'aime aussi,
maîtresse et exégète du tyran.
Pendant que cette boue souriante tournoie,
ma vieille hache s'aiguise en riant.

Vidant deux verres d'ignoble vodka,
je verrai ce qui est vendu et acheté.
Ce ne sont pas des écharpes sur ces fumiers repus,
mais le signe que leur tête est coupée!

* * *

Avares, salauds malfaisants,
qui mettez-vous sur vos étagères:
quels mensonges! quelle saleté!
Après un coup de feu, l'esclave est couronné.

Qu'ai-je à faire de vos embarras
dans l'édification de votre église?
Le goujat incarné vous favorise
depuis longtemps.

Quelles cartes seront-elles battues,
quelles prières vous distrairont-elles?
Ce n'est pas à nous de le regretter.
Le carrosse est avancé, bandits,
la capote est relevée, nos lèvres sont quittes,
et l'averse n'a rien à cacher.

Je suis poison sur votre assiette blanche.
Je suis l'ombre des révolutions sinistres,
où les putes sont fusillées,
où les bas rouges sont déchirés,
où les discours angéliques se déversent
sur les enfants enterrés.

Où tout présent est doux,
tout avenir oseille amère.
Où la chambre du tsar respire
le bonheur tiède du suicide.

Et dans la foule bronzée,
tel un tricheur ivre et joyeux,
je pousserai un nom noir
qui se rit de chacun!

* * *

On ne sait pourquoi,
le thé est oublié, la maison est condamnée.
On ne sait pourquoi les prières des loups
deviennent de la boue.

Vent sur les dévalisés.
Enfer sur les exterminés.
Qui nous ment affirmant que la clarté est en nous?
Pas la clarté, la partialité!

* * *

Au dessus du débit de boissons,
la lumière épaisse se dresse.
Ça sent le cinquième tome
et les jurons de soldat,

et l'hiver résineux
dans des bars de cristal
et cette parole d'éternité:
«Comme nous sommes fatigués!»

* * *

La nature pleure sur toi,
comme seule la nature sait pleurer.
T'ayant perdu, je vole
dans le ciel de ma poésie,

où le mensonge n'a plus cours, –
ça reviendrait à baigner le soleil, –
où les astres ne s'arrachent pas à coups de pierre
et les écrits ne s'effacent pas à coups de hache.

La nature pleure sur toi,
et moi je pleure sur le peuple
qui égorge des cygnes
et ne saurait franchir le flot des exécutions.

Qui marche en retenant son souffle
de crainte qu'on n'interdise de respirer,
qui n'a que faire d'une âme,
comme je n'ai que faire de mes virgules.

La nature pleure sur toi.
Laisse moi t'oublier,
sinon, malgré tous les rires,
je vais pleurer avec la nature.

* * *

J'étouffe de ciel sanglotant,
je me prosterne sur le nuage frontal de l'échafaud.
Ça sent le pain noir et aigre.
Ça sent le cercueil d'un blanc étincelant.

Est-ce dans des cerisaies que mes bourreaux
munis de leurs haches aiguisées se promènent?
Est-ce dans des coeurs brûlés que furètent
mes deux fiancées comme deux tourterelles?

Les prières portent jeune
sur le parvis de l'âme coupable et réprouvée.
Mais aujourd'hui vous ne perdrez pas la raison.
Dormez, vous serez amplement consolés.

Je ne crois pas au diable ni au démon;
dans les orties derrière la vieille izba,
le doux pommier en fleurs
m'a soufflé quelque chose à l'oreille.

Je me suis dressé devant lui, ivre et dépouillé,
telle une marguerite ployant sous le vent.
Comme pris à la gorge, j'ai écouté
tout ce que je devais entendre.

Il m'a dit étonnamment, simplement, doucement,
et donc avec grand art:
que mon écriture était éblouissante
et qu'il était triste que je boive autant.

Que j'étais devenu la réprobation des cavaliers noirs,
que j'étais devenu le hosanna des anges déchus
qui éclusent de la vodka de jour comme de nuit
et fument du mauvais tabac en bottes de feutre humides.

Il m'a posé sur l'épaule
un immense corbeau d'une sagesse aveuglante
qui a regardé mes yeux froids,
puis s'est tourné

vers le lieu où se tenait, pieds nus,
mon printemps que la grêle de mai
n'avait pas encore tué,
mon premier amour avec ses prières muettes.

Mon premier amour en larmes,
poignets comme menottés,
entourée de ses meilleures amies,
de ses histoires éblouissantes.

Non, elles ne me fuyaient pas,
elles gardaient un triste silence,
comme des fiancées royales,
prêtes à rencontrer putes et chenapans.

Sur mon épaule le corbeau se croasse pas,
sur mes lèvres nul mot ne frémit,
ma tête vole à leurs pieds comme une pierre
pour y être mouillée de larmes.

Garde-moi et prends pitié de moi, Dieu!
Détruis Satan dans mon coeur.
Mon destin est-il donc de me réchauffer
près du poêle avec l'Antéchrist?

Garde-moi et prends moi en pitié.
Vierge immaculée, mère de Dieu!
Tandis que mon corps périssable se détruit,
que la mort ne prenne pas mon âme.

Garde-moi et épargne-moi dans mes extases,
moi, pécheur impur
sous la froide étoile d'Orient,
tant que mes yeux n'ont pas été bandés.

Nous sommes abattus, mais pas pendus.
Ecrasés mais pas éteints.
Et les mots réveillés des blanches oriflammes
s'enflamment aussi en nous.

Prie pour nous dans Ta Résurrection
aux exclamations en étoile brisée,

où Essenine ivre se fige
et nie m'avoir rencontré.

Même s'il fut un noceur, un voleur,
nous sommes malgré tout plus forts que cette bagarre.
Nous sommes au dessus de cette meute,
plus sonores que cette gloire.

Inutile de broder des rossignols sur nos drapeaux.
Il nous faut survive,
comme les pommiers mutilés du jardin,
comme les puits empoisonnés.

Tant que brille le soleil
de nos jours cramoisis de scandale,
rien ne nous trouble,
rien ne nous juge, toi et moi,
et le verbe n'est pas las de resplendir.

Il est absurde de nous séparer,
muse! Tu es Marie Stuart
en robe framboise,
où nous broderons malgré tout

que nos fins sont dans nos sources,
qu'il n'y a ni renoncement ni de peur.
Et chacun de nos vers est un tract criminel
qui mérite le bûcher ou l'échafaud!

Même si nous souffrons et si nous avons mal,
ces bracelets ne sont pas les premiers.
Durant l'hiver nous ramassons par miettes
l'été caniculaire de nos jeunes années.

Que dira mon sombre corbeau?
Rien. C'est un hôte, rien de plus.
Rien. C'est un avantage sauvage du verbe
qui vit plus longtemps et plus loin.

Voilà tout, et point d'autres secrets.
Muses, muses, allons à la campagne.
Etouffant de ciel sanglotant,
je ne pleurerai plus sur moi-même!

* * *

Avec la même santé
en Christ un peu ivre,
je suis l'ombre de son chemin,
mais jeune ou acharné.

D'une bouche bannie,
je demande aux lettres
fatiguées de se pendre pour moi
de s'écarter.

Je suis la plainte des flûtes baptisées
et les joues de l'angelus...
et mes promises me protègent
par la rage chaude du péché.

Cette petite feuille n'est-elle pas
la nouvelle que tout est connu du chagrin
l'acrostiche, comme une croix
qui me laisse sortir.

Le noeud noir seul
court vers le cou laiteux...
Sans laisser trace, comme la vodka qui fuit,
la chagrin fait partir le bruit.

On m'enlève mon masque,
le muscle de la séparation vibre.
Pardonne moi la caresse,
pardonne-moi d'être Russe.

Russie pure ou Russie brute,
diamant ou agate...
Pardonne-moi de n'être pas fusillé
et toujours pas un salaud!

CARTE DU NOUVEL AN

Le nuage noir s'arrêtera,
le nuage blanc vieillira,
celui qui se signe et prie
dans mon âme sera glorifié!

En regardant de vieilles perles,
je prendrai ce visage... je me plaindrai.
Ne plus jamais la voir
tant qu'elle se désole avec les incendies.

Les blanches mains voudront
effaroucher les touches de la séparation,
tant que je cours après le sel
et ne m'incline pas devant le sucre.

Tant qu'on se résigne aux pluies
qu'on fait compétition de chefs...
le monde ressemble à du savon,
nous croyons à n'importe quelle bulle...

Dans les cimetières chocolatiers,
si on ne vous sert pas, on tombe.
Bulle, joue encore comme le globe terrestre:
est-ce pour de vrai?

La terre ne se fige pas
la tombe ne reste pas
...seule la mousse est mémorable,
elle est seule à montrer les dents.

Des boules de billard volent,
des chevaux dansent dans les forges,
portent des croix agréables,
les pendules admirent le sang.

Joue ma bulle... tu vas éclater
et rien ne sera accompli,
et Mandelstam à Voronej
commettra des vols dans les rues.

Brille comme la flûte d'un autre du même âge,
nage derrière une barque rose,
il suffit de se laisser suspendre
pour voir ce qui est mensonger!

A LA VEILLE

J'ai prié des visages très bleus
car les boucles bientôt blanchiront,
et le cierge aura peur de la mort,
apprenant que dans les livres saints
se liquéfient les élèves préférés de Dieu.
Et ses fils mugissent en prison,
et dans les cieux inéluctablement ivres,
et dans les cieux inéluctablement captifs,
j'ai appris le dernier sacrement:
les hommes commenceront tard ou tôt,
ouvrant les veines des anges,
à demander pardon au mal.
La pierre pleurera, midi durcira,
et le globe terrestre, pareil à de la cendre...
obligera à répéter le grand exploit
de celui que je ne nommerai pas dans mon poème.
Le genre humain qui s'est vendu trois fois,
libéré uniquement dans les nuages
bénira le responsable de ce repas funèbre
et versera dans la coupe son propre sang.
Clignant son oeil orange, l'aube
glissera sur les glaçantes listes mortes
et, attaché à la ceinture du dernier Tsar,
on nous amènera un basilic aveugle.
Je pressens des bûchers sur toute la terre,
des os humains dans les clôtures,
et sur les églises non plus des croix russes:
la croix gammée du désespoir et de la méchanceté.
Et la foule étendue comme du caviar pressé...
Au signal on pourra seulement applaudir,
des millions mais pas une seule âme,
et un robot lira son homélie.

* * *

Lorsque mon enfant aux joues rouges,
pleure pour rien par une nuit de cristal
dans de chers yeux fatigués
je lis le manuscrit du tsar.

Quand la léproserie tord
les gants de Pouchkine en enfer,
j'attends l'inspiration comme des durillons
sur mon coeur doux.

Réjouis-toi, mémoire neigeuse,
étincelle, cravache efféminée...
je montrerai comment liquéfier la raison,
je prouverai comment réchauffer l'âme.

Obstinés adeptes du chagrin... à qui sommes-nous?
qui nous force à garder la Lumière?
Même l'éternité obtient un grade
et les étoiles, pour leurs années de service.

Je me fige à ce rôle, le souffleur est tué
et c'est trop fatiguant de pleurer.
J'emprunte doucement au cierge
l'ombre voûtée de Shakespeare.

Cette Gloire me fait peur
et la virgule d'une boucle noire,
pardonne-moi, grand pays de fer
qui feignait d'être en or.

On aurait dû fusiller davantage
de tes prophètes dans la neige,
vous avez interdit de croire en Dieu
contre un espoir de cinq secondes.

Vous avez enchaîné l'amour aux rails,
emmené les poètes dans la toundra
en baillant, vous avez publié...
la liste des roses fanées.

Et puis vous avez su le prix
du sang torturé des bouleaux,
vous avez entendu le génie gémir
(ma bien-aimée ne me contredis pas).

Comme la fierté de ma nation
accepte la corde et la balle,
par les larmes des sept mers
la Russie le comprend!

Vous vous prenez la tête à deux mains,
il est trop tard, trop tard, trop tard...
Laisser les pleureuses hurler...
comme les roses étaient belles!

Oui, après la mort on peut prendre
n'importe quelle création légère...
mais vous n'éviterez pas la vérité,
vous ne cacherez pas vos crimes au monde.

Peu importe qu'il soit prophète ou juste
aux lèvres toujours en sang,
vous déguisez en monument
vos ignobles assassinats.

Mais aucune plaque de marbre
commémorative ne saurait vous sauver,
car vous êtes tissés de ténèbres,
issus d'un fragment satanique!

Nous avons tout vécu, tout compris
et voici la morale de la fable:
tant que la patrie te cajole,
tu peux chanter et parader.

Mais quand vient la saison de la chasse,
envole-toi... sans épargner tes ailes...
ni le sang... après les pronostics météo
le rossignol pris au piège pleure.

Au bord de la Volga, vent sec de lâches,
dans mes forêts, grêle de meurtres...
Même la mort revient à vide
du coeur où la poésie règne.

Elle s'égare, supposons
qu'elle soit atteinte, qu'elle se trompe,
comme une victime d'incendie,
elle implore du pain et s'engage

à ne plus revenir me voir
avant le temps de mes désirs réalisés,
peu importe la pression et les tensions
et les pressentiments... et les tourments.

Rien à faire des 80 torturés,
des 800 bûchers consumés,
des 8000 qui ont été tués
ni des 80000 expédiés dans les camps.

Rien à foutre du charmant délice,
quand la Divinité fait du scandale.
La vie est une parente mélancolique,
mais les frères sont majoritaires.

Parmi eux les favoris considèrent
le plus jeune des trois,
n'oublie pas, remarque l'Exploit,
il suffit de Créer, ajoute le Talent!

Mais le mystère vous tourmente
et la curiosité vous brûle la poitrine,
je dirai seulement: au delà des lointains,
un quatrième secret m'attend!

* * *

Je voudrais du papier, de la lumière,
Seulement de la lumière et du papier,
et du ciel pour dix-sept années,
et du pain pour un bridge de minuit.
Les haillons de rares pâmoisons,
un lien fatal avec la rime:
que cette biche sauvage obéisse
à toutes mes injonctions.
Des ciseaux pour couper des roses,
un couteau pour creuser les cœurs,
et le fouet de cils en disgrâce,
et la vengeance tachée d'encre.
Un timbre pour une adresse effacée,
Une boîte postale dans la ruelle
Que martèlent pour que je les ouvre
des lettres dodues comme des beignets.
De l'iode quémandée en riant,
une cicatrice sous l'œil droit...
Le reste va guérir,
remue-toi.
Il me faudrait encore une boule de neige
lancée dans mon dos par une inconnue.
Et aussi un petit drapeau
qui ne soit rouge qu'à moitié.
Je n'ai rien d'autre à désirer.
Je suis un devoir à rendre
dont on s'inquiète,
en parcourant les jardins au mois d'août.
Le clairon de mes jeunes erreurs
ne s'est pas encore levé.
Ne courbe pas le dos, sois fier
d'avoir été méchamment cousu.
Cependant une ombre bâille,
et voici que sous son aisselle
le jour cruel de notre gloire
se chauffe à la dynamite.
Les incompris ne comprendront pas.
C'est à la charge des mal lotis.

Celui pour qui Moscou sonne le glas,
c'est un monument, rien du tout.
Je voudrais du papier, de la lumière,
seulement de la lumière et du papier.
C'est là mon pain quotidien,
c'est là mon risque quotidien.
Sur la terre éperdue,
froide à vivre pour ceux qui chantent,
j'aurai ma famille de bronze,
mes admiratrices monteront la garde.
Prends ton chagrin par l'épaule.
Ce n'est pas en bourreau que je reviens
au monde pour punir tous ceux
dont les couleurs sont fausses.

LA HUTTE D'HUMEUR

J'aurai tout, pain, maison
et pluie qui frappe au désespoir,
à croire qu'un million de non-baptisés
retrouvent tristement les baptisés.

Ne manquera qu'un seul regard plein de larmes,
et ce monde ne sera pas maudit.
Je bénis mon éternelle source
et ma tête sur un plat noir.

La cape qui connut l'aile de l'ange,
la mort qui m'accompagne dans la misère,
et la simple plume de fer
qui sourit de tout.

A la gloire sans défense comme un cierge,
allumé entre ténèbres et pourriture,
je laisse en mourant, sans faire exprès,
mes poèmes immortels.

J'aurai tout, pain, maison
et peur de Dieu et nombres angéliques.
Mais je t'en supplie: existe après,
âme qui couvrit de baisers son pays!

L'ÉCORCE DU RENIEMENT

…Énonçant: cette poussière est peut-être Moscou,
et cette autre Chicago.

Vélimir Khlebnikov, 1922

En cinq minutes de velours,
j'ai eu le temps d'en arriver au suicide.
Le nœud coulant me remplissait à ras-bord,
comme les catins remplissaient jadis Pierre le Grand.
Il avait ordonné qu'on sarcle les églises,
il était un sucre dans la tasse sale de la Russie,
mais il ne fondait pas. Il n'a toujours pas fondu jusqu'à présent.
Je lui crie: «Pierre! Pierre!
A quoi bon les escaliers de ton habit
dans la cave à poudre de la vanité?
L'épilepsie serait-elle l'écume des réformes?»
Quelqu'un a mis trois cierges avant de mourir à son tour.
Je suis parti dans les bois et j'ai voulu m'y dissoudre à la place de Pierre.
J'ai payé au loup le tribut d'une religieuse en fuite.
J'ai jeté mon alliance
avec mon corps coincé à l'intérieur.
Mais la neige était beaucoup plus lourde que mon menton,
elle n'arrêtait pas de fondre et de tomber.
Elle m'a recouvert avec l'avidité d'une amante
qui a perdu ses dents de sagesse.
J'ai marché telle une statue, et seule ma petite croix d'argent
trahissait mon évasion sonore,
ainsi qu'une clochette au cou d'une brebis égarée.
Les bêtes qui croisaient ma route
se signaient, effrayées,
puis se lançaient dans des oraisons,
à croire qu'elles voulaient se procurer par mesure de faveur un cercueil supplémentaire...
Maintenant je suis un objet de prière, et on continuera à m'en adresser
tant que ma dernière adoratrice n'aura pas dérobé
la plaque de cuivre de ma tombe pour boucher enfin... enfin...
la fente noire de l'immortalité d'où soufflent des vents acides.

ÉTUDE DANS LE HAMEAU DE LA NOSTALGIE

Mon buffet porte des cheveux de verre,
ma mère, une voix de carreau.
et mes rendez-vous un claquement de gifles.

Quant à moi, je porte le souvenir
de ma mère à la voix de carreau,
de mon buffet aux cheveux de verre,
de mes rendez-vous ceinturés de gifles sonores.

Et la mort nous regarde tous,
comme cette écuyère de cirque sur son cheval noir,
d'un œil de cendres, presque blanc: un regard de catin
qui nous désire tant, mais qui n'a plus la force.

CAPRICE QU'ON DENOMBRE A L'AUTOMNE

Viens,
mon esclave!
Mon petit chat!
Baise mes pieds,
baise mes pieds,
baise-les.
Et s'il n'y a rien à boire,
viens, mon esclave, mon petit chat.
Autour de toi des mouches toutes blanches,
autour de moi aussi des mouches blanches
...dont l'une s'est posée sur l'œil, l'autre sur le sourcil
et la troisième sur le sang du Seigneur.
Elles tournoient, et moi je te conduis
sur le chemin des suicidés et des voleurs,
à l'école du soir en éperons d'argent.
Devant moi le violon jaune danse,
derrière moi le fossé des fous,
et ma croix verte est comme un banc,
l'hiver sur mes genoux viennent s'asseoir
des oies et des cygnes rouges.
Je te mènerai par la route dorée
vers le vieux prince en robe rose
et la chapelle vétuste,
je te mènerai par la vieille route
en robe rose vers ce cher prince
et dans la chapelle sonore.
Viens mon esclave,
mon petit chat...
Baise mes pieds,
baise mes pieds,
baise-les!!!

* * *

Je t'oublie...
Je t'oublie!
Comme si je clouais le cercueil
du cadavre jauni de ce mois de novembre.

Je ne sais rien,
je ne veux rien savoir.
Je t'éteins,
chandelle d'or!
Serait-ce pour l'Eternité
que l'automne étale sa splendeur?

Tu meurs en moi!
Tu meurs à jamais.
Mon âme est l'abattoir
de grasses rancoeurs cruelles.
C'est la première fois que mes prières ardentes
me font si mal.

* * *

A mon dernier chant je vais mourir.
Je n'aurai personne à embrasser.
Quelle amertume pour la plume solitaire
de quitter la tiédeur de la main.
Au dernier chant, où le jeu
est passé par les armes, où chaque mot
est un soldat qui ne crie pas «Hourra!»
mais foule des cadavres en crachant le sang.
On me vêtira de la douce fumée
d'orageuses légendes et de commentaires.
Pourtant je fus jeune jadis,
sans qu'on le remarque.

* * *

Les cils font force de rames,
Mais tes yeux ne quittent pas la rive...
Enfant mal aimé courant après les astres,
je ne veux les donner à personne.
Mon âme est tellement vieille,
Et moi, je ne suis plus jeune.
Je suis Rome aux statues en ruines.
Je suis le ciel à l'étoile rose.

ПЕРЕВОДЫ НА СЕРБСКИЙ
КОРНЕЛИИ ИЧИН

Корнелия Ичин (серб. *Корнелија Ичин*) – сербский литературовед, переводчик.

Родилась в Белграде в 1964 г. Доктор филологических наук, ординарный профессор Белградского университета. Автор книг об Овидии и русской поэзии, Николае Гумилёве, Льве Лунце, русском авангарде. Организатор ряда международных конференций. По приглашению читала лекции в крупнейших университетах Европы, России и Японии. Член редколлегий международных научных журналов «Филозофија и друштво», «Spotkania Humanistyczne», «Slavica Tergestina», «Slavica Romana», главный редактор «Зборник Матице српске за славистику». Переводила на сербский Ф. Сологуба, Н. Гумилёва, О. Мандельштама, Д. Хармса, А. Введенского, Л. Аронзона, И. Бродского, Г. Айги и др. Расшифровала рукописи и опубликовала три книги произведений русских эмигрантов.

ПРВА ЗАКЛЕТВА

Ја нећу престати са радом, док
не стекнем грбу, не смажу ме црви.
Ја нећу престати са радом, горд,
што нигде ништа немам за дан црни.

Ни јастук надуван од лажи дрске,
ни завист да вам играм насред тела,
ни добру реч да хвалим власти мрске,
у којима ужива само џелат.

Ни подлост пријатеље да клеветам,
ни кукавичлук себе да откуцам,
ни насладу да женски заблебетам,
кад наредба је: моли се и пуцај.

Ја радићу и даље, попут вола,
док све што немам не скупим и спалим.
И као хиљаде Савонарола
ја урлам: «Ватру дајте, да се жари!»

Кад плашт са прашном поставом обучем
кренућу, чупав просјак немивени,
по згариштима домовине туђе,
к'о срећни усамљени искушеник.

Ја нећу престати са радом, док
не макнем брдо лешева што базде.
И бринућу се као црквен дом
о судби несмотрене људске пастве,

за руку што је води зло и кличе:
«Ах, Бога нема, драго моје дете –
као из добро познате ми приче –
тог Бога нам измислише поете!»

Ал' Страшан Суд је ту, не кани с напором,
то није Страшни Суд Буонаротија,
он образ ваш препознаје пред народом,
од ваше крви он се слатко опија.

Ах, брига вас за стид! Тек поцрвене...
Алʼ излив крви није неки празник.
Лекару новца таман да се дене,
кʼо пањева на нашој смртној казни!

Ја нећу престати са радом, го,
јер бих да збацим с царских плећа бунду,
док пресуда одјекује кʼо гонг
и сечиво се смешка још секунду.

Ја нећу престати са радом, док
не скинем са срдаца зло и плесан.
Пробудиће вас врло брзо рог –
то биће моја злослутница-песма!

ВОЉЕНОЈ УМЕСТО ОПРАВДАЊА

Ни усне нису испратили,
а кашљаху у рубац, крадом:
пô Русије су истрађили –
опојаће га звона радо.

У нашим молитвама смерним
свих хапшења одјекну звон;
к'о деца кикоћу се нерви
и врте жути хоризонт.

Ви крстите се моћним рукама
кад рањене на гнев су спремне,
кад радује вас камен укаљан
што носи клето име Земље.

Баш ту, где башта пусти нокте
свих ружа, доспећеш и ти.
А домовина чува нотес
са растанцима крвавим.

О, позлаћено моје сећање
што носи те на кичми ждребе!
Ја ћутим како црква гледа ме,
ти ћутиш како гледам тебе.

Та сигурно ме Бог уклонио
из клупе, где је драгуљ-око.
Због вољених ми руке ломимо,
а сами узимамо отров.

Шта да се чини до литургије,
кад нису једро разапели?
Кад, к'о на кришчице, све журније
по насељима смрт се дели?

А моја бака зима дремље,
зелене има еполете.
До гуше ми је љубав земље,
до курца – њено време, свете!

Млађана моја лета језде.
Свеједно, спремам се да крочим...
Тек тамо додирну се звезде,
тек тамо отворе се очи!

БАЈАЛИЦА

Татјани Божевиковој

Ја сам у опсадама тебе
Ја сам у озледама тебе
Ја сам у прогонима тебе
Ја сам у погромима тебе.

Ја сам и опседнут због тебе
Ја сам и озлеђен због тебе
Ја сам и прогоњен због тебе
Ја сам и погромљен због тебе.

Ти, само ти си Бежин луг
Ти, само ти си Божји друг
Ти, само ти си паклен круг
Ти, само ти и руку мук.

Шта су и обмане без тебе
Шта су и подвале без тебе
Шта су и помаме без тебе
Шта су и спомени без тебе?!

Свет је ко шкриња омрзнута
Где је запечаћено добро,
Дај да надомак Страшног Суда
Очарам, опијем се тобом.

Ничег ни смешнијег од тебе
Ничег ни скритијег од тебе
Ничег ни важнијег од тебе
Ничег ни битнијег од тебе.

Власт, к'о и злато, сад је ништа,
Истина свака поста гњила,
Машта застрашујуће иста
Мени одувек ти си била.

Сачувај душу, да не јења,
Ближи се, најзад, судњи дан,

Златом кад зрачи стид прстења,
Усне кад крију јоргован.

Љубавни чамац, тихо броди,
Бескућна река шале збија...
Тај што не позна ме на води –
Из револвера на ме циља.

Ако ми посада опрости
Што су мој компас трепавице,
Бићу твој док се вуку кости
По хемисферама к'о лице.

Клечаћу век, по дану, ноћи,
Сузе са дна ћу црпсти роптањем...

Тамо, где мојој драгој точе
Вино из саме моје лобање!!!

* * *

Моје су усне к'о пурпурна улица,
ти си у њој као јеврејска радњица.
Потказивачи се пуше к'о лулица.
Пајкани звижде кад прошета мачкица.

Још клатим се у хаустору, ломим прозор
за дуго сећање,
гитару диркам...
А ја бих већ одавно
требало да
бронзан
на тргу стојим и на сунцу жмиркам!

* * *

Изношен модрих увреда огртач...
Мој циљ је срушен,
лозинка је мртва.
Опањкавам помало самог себе,
свирача, бекрију, код усне седе.

У домовини остаћу ја гост
све док ме, штоно веле, смрт не мазне,
и најдражи поклониће опрост
за псеудоним,
вредан смртне казне.

Ја своју драгану љувено љубих,
ал' нека, не схвати небески свод
и срца мога зачарани рубин
одузе задњу молитву пред гроб.

Ломачо сјакти,
звездо моја сјај!
К'о пали анђел нека сам устрељен
јер младост листаћу у МУП-у ја,
кад љубавнице стихове разделе.

Не бојим се,
та светлост зрачи свуд,
земаљска свиђа ми се шала свака...
На одру – стакло црвено укруг
и потпис плаветни незаборавка!

ПРЕЛУДИЈУМ ЗА ЛЕВУ РУКУ

Благодарим за дичне цигле голе,
благодарим за срамне болнице,
благодарим за страшан маузолеј,
благодарим за хлебне мрвице.
Благодарим за лукаву судбину –
што златни кључић упаде у вир.
Благодарим за рекордну брзину
свих цинкароша, чији не знам збир.
Благодарим за чупање срдаца
најближих, неспремних за вечни пут.
Благодарим за смешкање мртваца,
благодарим, ал' сада задњи пут.
Док умирете стенице-бескичменке,
што писте крв смарагдних праведника,
испијаћу ја вотку сред Пречистенке
за леда бели зев, за дављеника!

* * *

У немилост себе гурнух
да од метка не починем,
да омча не сличи кругу –
заклоних Лице Судбине.

Пар кичица, цигарете,
држе руке – мермер сив.
Та спомен'те ме, поете!
И ја некад бејах жив...

* * *

В. Лашковој

Захваљујем за то, што затвор ме заплени.
Захваљујем за то, у лудницу што крочих.
Захваљујем за то, што живех где и сени,
а сени не брину о спомен-плочи.

Захваљујем за блесак игле из недара.
Захваљујем и гробљу и продавцу
што и без пресованог кавијара
догураћу већ некако до старца.

Захваљујем за сву белину костију,
захваљујем за корбач ружичасти,
захваљујем и бесмртничкој постељи,
захваљујем и бесмисленој страсти.

Захваљујем за чашице и милоснице,
захваљујем за плаво-сиве очи.
Захваљујем за то, што старе иконице
успаваху ти скуте сваке ноћи.

Захваљујем и наранџастој утроби
судбине моје, хлебу ноћних мора.
Захваљујем мртвацу што се угроби
и свима које смрт ће стићи скора.

Захваљујем ишчезлом пријатељу
и праску звезде, сталном противљењу.
Захваљујем свом будућем музеју,
захваљујем свом задњем магновењу!

ПЕРЈАНИ ПРСТЕН

Ове јесени припите,
где желите, у шуми, у подруму,
моју главу уситните
да је тако баш скупо не продају.
И пробушите леђа
да, к'о касица, имам шупљину,
да одзвањају већма
ваши погледи, погледи њини.
Кришом, отиском плаћам
књиге лакога плена,
А и женске ја лаћа,
за пар филера, мењам.
За таксирање право
шефу с каменом фацом
мало плавих и барон
потцењивачки бацам.
Ех, ти, касице-кичмице,
ех, ти, летећи ћилиме,
сребрн узраст још дичније,
још пет лета наткрили ме.
Да л' због очију зелених
ломим зелене чаше,
ал' у срцима чемерним
драге растанак плаши.
Да не липшем к'о скитнице,
чујте, говорим вама,
моју главу уситните
јер ће пропасти заман!

БЕЛЕШКЕ НА ПОСТАВИ КАПУТА

...Ал' све док трубе
мртваце славе труле,
нећу пререзати грло
нити покидати струне.
И док је горд
на небу весник,
живећу го
к'о хијероглиф-осветник.
Док не појави се џелат моје врсте
и док цвиле у мом месу кости,
ја ћу живети к'о стари мајстор врстан,
коме песме долазе у госте!
Ставићу на коцку испред задњег шљама
десет-дванаес' стиха што нашврљах
о животу дугачком смираја дана,
чији рукопис је одвећ крвав.
Окренућу се тад на своја плећа,
написаћу епиграм другим, гробним...
Остаћу непослушан за живота псећа –
и даље псоваћу вас сласно, преподобни!
Мене не занима моја прошлост.
Мене не занима моја будућност.
Живећ' у Русији, све сам прош'о,
срећан сам – шљакам црначки мучно.
И ако Месец не ставе на одар,
и ако звезде не сместе у ћелије,
чело подарићу Русији, бодар, –
да буре кује смелије.
... После туча, после бољки,
Русијо, не жени ми се.
Хвала вам, к'о школьки,
за жуч, за бисер!

* * *

Где је ветар амбасадор,
где је киша златар шкрт,
где су вековима радо
мисли водили у смрт,

где пролива јутро млеко,
слушкињице – вино црно,
где лакеја пијан прекор
сеје дивљих туча зрно,

где у цркви враџба плени,
где се вреба с ђаном сношај,
где се ништа баш не цени
осим зарђалог ножа...

То је домовина жала,
плодоносни посед лажи,
где и усијана глава
ледени јатаган тражи.

Нек' ме схвати добро земља
с манифестима убица,
да се пропише имена
бронзу лијућ' с трепавица!

НАПИСАНО У ПЕТЕРБУРГУ

Не коња – потковице звук,
што сипа јоргован у јорги,
у корену што сече мук
заувек, сребрно и горко.
Све подсећа на Царско Село,
на март што страћи снег на крају,
још лице не освану бело
а музика и псовке трају.
Ја љубим само пасаж сраман
и имендан прослављам тâта,
ја рушим мисли као гавран
пред уснама с црвених врата.
А судба седа је к'о бол
и према туђој тузи склепана.
Разнежих се к'о Гумиљов
минуте три пре самог стрељања.
Узалуд чекао сам, воштан,
ускршња слова телеграма.
Мој мозак тече као Кронштат,
а крви мало... чујеш, мама?
Одакле стиже овај јад?
Са које стране песме вриште,
кад силно пламти Русија
И Блок је Богу уточиште?
Кад с пута, надомак вишњика
прохујалих и слепих днева,
изгара срце передвижника
и има их, к'о да их нема!
Не молим, нисам ја просјакиња,
прикована за кобну веру,
већ Петербург, у ком су пајкани
што спавају на револверу.
Мој први пуцањ сакри вео
и смрт узаман чека сусрет.
Очарале ме све у белом
Цветајеве саоне жустре.
Марина! Ти си мене морила,
ал' остао сам жив и велим –

а где је твој официр бели
са купином за млада молила?
Марина! Чујеш, снују звезде,
не љубити је грех, не пристах,
у хркању се март угнезди
а ти, к'о храм, до суза чиста.
Марина! Ти си овде скроз нова.
Ах, за епоху расипника
засвагда песма је Морозова
до манастира и крвника!
И њу већ прати пас по трагу,
у тамници јој туже мошти.
Гори, к'о протопоп Авакум,
у збурканој се бурка Москви.
А поред, тихи звекет ширећ',
к'о иза тобожњих кулиса,
скидају звонаре шешире
да поздраве социјализам!

РУСКА КЕРАМИКА

Далеко је земља од које ћу узети име.
Далеко су лале, што носе моје лик и презиме.
Далеко је земља астматично тешкога дисања,
сестра кисељака, а душа голубије кристална.
Далеко је земља омивена чемерним сузама,
где диме се куће, где мисао црна испузава
да попије воде, а добија тугу и слутњу.
Далеко је земља, потонула навек у ћутњу.
Далеко је земља, што воле је ударци убави,
зарђале оспице, песме нарицаљке – удави.
Далеко је земља, што воле је аветни пожари
и ритмови стари, камењарке, пијани клошари.
Далеко је земља са мирисом јарма и зноја,
навеки са модрицом, ожиљком, шалом без броја.
На пијану сукњу је пришила увреде горке
и само на југу сву гордост јој скрхаше бољке.
Далеко је земља, к'о шваља, изгладнела праља.
Њен сваки је дан као камен у устима, укор.
Сви њој се подсмевају почне ли буркање вала.
И цареви не љубе њену потамнелу руку.
Далеко је земља, к'о рана Цветајева, зрачи
златокоси пастир, разбуктава жар ордоносац.
Далеко је земља, к'о вино у смрзнутој бачви.
У глави откуцава вино, а болестан мозак!
Далеко је земља, што свакакве издаје подноси,
што свакаквом греху у срцу свом безумни опрост да,
што свакакве боли и увреде са собом односи,
што смрт великана, к'о пропланак шуму, њу опседа.
Далеко је земља, ал' она је дивља и свикла
да најбоље синове уморе, к'о да се игра
на сцени, где режисер глумицу лошу отписа,
а публику њену задавише иза кулиса.
Далеко је земља, што оде кроз кашаљ у пести.
И плаче и смеје се она у бокору вење.
Далеко је земља од туге – лепота јој блешти.
Зар не смем да кажем? Зар нестаде и поверење?
Далеко је земља од које ћу узети име.
Далеко је земља, по чијем звању се знамењу.

К’о последња љубљена, којој не памтим презиме,
промаћи ће, неко ће добити завист у замену.
Далеко је земља, не бојим се јада што чами.
Од соли и бибера, понекад, буде и слатко.
Далеко је земља, у којој ме хвале гусани,
што лете ка Богу, на тињаво кандило свако.
Сачуваћу рукопис њезин пуцкетаво-бајни.
Сачуваћу њезине ручице јадовно-млечне.
На свакоме језику, гостећи с угљеном чарним,
ја знам да ћеш штампати мене за векове вечне.
Ах, ипак ја волим и црквени цртеж са цица.
Ах, ипак ја волим и гачце пред крчмом оседелом.
Без тебе наредише лелек и грђење лица
и само због тебе да глумим лудака ослепелог.
Ах, ипак ја волим макљажу и вечите туче,
одавно је време и равнање врхова не гине...
Са злокобном дражи, к’о потмуло самотно куче
већ лижем ти руке, к’о лице да целивам секире!

ДВОБОЈ С ДОМОВИНОМ

У спомен на Јурија Галанскова

У септембру вода надолази.
У септембру сандуци одлазе.
У септембру кита се јежи.
У септембру девица греши.
У септембру свитање рида.
У септембру прстен се кида.
У септембру стајем пред врата.
У септембру зезам целата.
После Сунца уморног пецај,
нек' насити несите земља,
где се ломе чаше кроз јецај,
где се точи август подземља.
Вероватно пијани чувар
с мојом рибом поступа вешто,
кад ми даје пољем да шњурам,
кад ми даје излазак често.
Кад год але такве јебавах
немах бакрен ашов од ила.
Цео живот бол покопавах,
док се смеја Понтије Пилат.
Паднем ли на мермерни сто,
пашћу и на Љермонтова.
Михаиле! Труба је зло!
А да чекам – негодовах!
Та ко јури, јури л' по трагу?
Подстрекивач, студени глас,
од живота груди одмакну.
Секунданте, гроб је за Вас.

Овај двобој не да ми мира
и надоле клоне му глава.
После лављег удела вира
и ја постах сова што чмава.
Двобој довек, нема га горег.
Не начиних седми свој корак.
То је двобој-ужас и двобој-гром.
То је борба с домовином.
Ја за ме... за метак се спремам

и ја молим мати у мори.
Пустињаку, моли се, спреман
да се предаш – ланац је гори.
И у свету чаробне лажи
за победу чаршав чувај на стражи.

Ех, Русијо, крви ил' славо,
нек' те кида маса, правећи завој,
да преживим, живећи здраво.
Да преживиш – метак у сало.
Све ће цркве звонити теби,
затвориће школе – молебан!
А кад чују ову баш песмицу
даће теби црвену преслицу.
Још не попи прашак за сан?
Пет минута мисли на прошлост,
пробај оков, такав је план –
већ је доста лажаца дошло.
Крај твог кревета се не трене,
крај твог јастука су монаси,
чет'ри века одјеци плене
покрај омче – ситниш у чаши.
Сад издише ко се мирише.
Пет минута! Чуј! Дођи ближе!

У сваком твом каменом луку и стубу,
у сваком твом жалосном спору и сукобу
претвара се двобој у срамно венчање
Морозове с расколником без имања.
У сваком твом затвору – мрских ли места! –
у сваком твом врљавом оку због младе
свој ношаху крст и помешаху с тестом
Григорија главу, што анђела знаде.
У сваком твом дому, и думи, и дами,
у сваком твом нацрту масница плавих,
у сваком сокаку, где смејеш се радо,
ослепело проћи ће вицева стадо.
У свему, где запис не сложи у длаку,
у сваком, што беше од вајде подлацу,
у сваком, ко остаде добош, гримаса,
у сваком премазаном, спремном на масла,
узбуркаћу крв и на белом и црном
начинићу све једним црвен-катуном.

Нек' неко сад урла и удара песницама...
Бројаницу плетем и друг сам с болесницима.

Сви дечаци бели скитају, кукају.
Бледе мађехе све цветове чупају,
каче иконе од ранога јутра,
само пудер данас прави је мудрац.
Сви дечаци бели чашице ломе.
Сви дечаци бели очеве гоне.
Сви дечаци бели умру на белом,
њине усне мени послаху целов.
У капуту црном однећу позив
да дечаци бели дођу на двобој.
Свак' ће узети по длето у слози –
стража дрвена доживеће покољ.

За јод хвала и за полет неусиљен,
славна столећа и леђа што чамите!
Дајте кусур од убијене Русије,
немам ситно, само крупне новчанице.

Свуда звона звоњава – кар... кар...
Свуд се ори опричник – бр... бр...
Да, саградиће у Москви бар.
Тамо нудиће вам само крв!
Вероватно баш у пет, баш у петак,
ја ћу, Русијо, пред народом часним
да стропоштам се на колена клета,
где ти крвариш, да лик се пројасни.
Постоји ли лук, он је у анђелу.
Анђео сте ти и Модиљани...
Моје место биће у Јеванђељу,
где су дела апостола званих.

Гола буди, Вера, сад је тама.
Гола буди, то је тек почетак.
Русијо, ти жено-кћери, на ме
залуд вика, остаде без чеда.

Кад по шести пут опалим, хвалићеш се свима ловом.
Тамо, где к'о набујали јоргован кисне булевар,
цео наредни век ће продавати дугмад с капута баш овог
лицитираће стакло што разбих у наступу гнева.

* * *

Шта мени анђео мој пише?
Шта спрема Бог за моје патње?
Ја осећам да све си ближе,
мој повезу од туге хладне.
И зато, истина је права,
са људском лажи вотку пијем.
Овенчала ме царска слава,
ал' боље славе те да није.
Ко жена превијених рана,
корача Русија по брежју
од цркава, под прахом дана,
где само кост и крв се врежу.
Сад моје чело кује стужа.
Сад моје перо носи ривал.
Ја знам, обузима их ужас
од моје гомиле папира.
Вас чека само Антихрист
и стадо које мљацка – ад.
Ја преклињем вас, душом чист:
нек' пробуде се сестра, брат!
Ко може овде да се моли –
нек' моли се. Ил' биће сужањ.
Од јутра па до сутра порив
на коленима нек вас куша.
И звер ће бити ваша моља
на целој земљи, целој земљи.
И јахаће кроз зелен-поља
У магли злој јахачи неми.
А вашим ткивом, вашим ткивом
нахраниће троглаве псе,
и крвљу вашом, као пивом,
напиће резе затворске.
Да не гледају очи моје
на вашу земљу у дан срамни...
Ал' летех с анђелом и горе
ја плаках с њиме, што смо сами!

ПЕРЕВОДЫ НА ХОРВАТСКИЙ ИРЕНЫ ЛУКШИЧ

Ирена Лукшич (хорв. *Irena Lukšić*) – хорватский писатель, переводчик, литературовед.

Родилась в Дуга-Ресе в 1953 г. Окончила философский факультет (отделение сравнительного литературоведения и русского языка), докторантуру по русской эмигрантской литературе Загребского университета. В разное время переводила А. Пушкина, А. Чехова, И. Бунина, А. Платонова, Г. Газданова, Д. Хармса, В. Аксёнова, И. Бродского и др. Опубликовала около 300 научных работ. Является соавтором американской «Энциклопедии мировой литературы XX века» и «Словаря литературной биографии». В качестве приглашённого профессора выступает в отечественных и зарубежных университетах. Член редколлегий международных журналов, главный редактор книжных серий «Književna smotra» и «Na tragu klasika». Проза И. Лукшич переведена на английский, македонский, немецкий, словенский и турецкий языки.

* * *

Ja sam ništa, što se tu može.
Kamo da bježim? Čemu?
Molim te, spasi me, Bože
Ništavnosti svih tih sistema!
Sa ključem u džepu tako
Penjem se gore na tavan
Tek stoga što sam Gubanov,
Dakle, čudak neki slavan…
A za čudake zakon, tako se računa,
Nije pisan. Onda nije greda.
Zavaljenom u naslonjaču od baršuna
Sonet diktira mi zvijezda.
Vijenac na glavu mećem,
Mjesec kroz okno mamim,
Neću se klanjati Zvijeri,
Pokleknut ću, no izdati neću
Atenu, Gnjevnu Paladu:
Kći Zeusa što zijeva
Opet je u poderanom ogrtaču
Sa mnom, sa mnom te noći!
Čaj kuham već peti
Na gorkim granama oliva
I mudrost slatku sa sjetom
Puštam kroz prozor da pliva!

NAPOJNICA CRNE RUŽE

Prošlosti! Pusti me, molim te, preko noći.
To sam ja. Udaram brončanom glavom u tvoje studene kapke.

I zaključaj me, od budućnosti, do kraja,
Moli, uvjeri … možda postane bolje.

Sjećam se sebe, dok Staljin bijaše živ,
Prašnjave Potilihe, torte Novodjevičjega manastira,
Radosti moje – djetinjstvo s tankim strukom,
U gradskome zvoniku – učitelja.
Oh, ja tako loš nisam, prošlosti.
Zaboravih matematiku i Okružni most,
Ne sjećam se niti raskošne prošlosti,
Zbog koje se u okrugu cijelom nazdravljalo svima.
Nisam kriv, a i ti zacijelo
Postala si kratkovidna, kao zrcalo Pikove dame.
Nakon tri karte ja želim navratiti.
Zar sadašnjost je tek da se pije?
Prošlosti, vrati ih.
Tri šestice,
Tri ceste legoše na moj put.
Moja muza u raskopčanoj bluzi
I sa cvjetovima nevinim na grudi
Kao pijana vojnikinja u noć vuče,
Ili laka princeza u travama tone.
Muški se natrčahu – u čemu je tajna?!
Iscrpe, iznerviraju, hoće li
Još … Ne, ne, ne, ja nisam Vasnecovljev
Vitez – i neće to otići od kamena.
Ja znam, prošlost vašu u lice,
Zaprskano jorgovanom, a ne modricama.

Prošlosti, daj mi tri karte, žive vode,
Za četvrtog asa pobrinut će se mali.
Naša dama je ubijena, ali nije nevolja,
To vaš igrač nespretno se šali.
Prošlosti, osta mi još jedan as,
I taj as ima – lik Crkve.

No, a Pikovoj dami darovat ćemo kao breme,
Zlatne zvučne zlobne lance.
I da ne ispliva stara hulja,
Stavi na nju karo dečka.
Nek se sjeća spolne abecede,
A mi zasad pograbit ćemo se ovdje, na klupi.
Prošlosti, misliš da tužim se sada?
Sačuvaj Bože, glupe li misli.
Prošlosti, tužim se na cara,
Na dar tvoj se žalim, na prijatelje.
Prošlosti! Tužim se na tisuću istina,
Zar do mene je da sudim jesam li Krist ili Buda?
Prošlosti, svi pokrit ćemo se lišćem
Ili ćemo obrasti Velikom Budućnošću!

Vele – ne pij tako puno votke,
Vele – ne tuci nemarne cure.
Gdje si sad, djetinjstvo u čamcu –
Ničega nema: ni riječi, ni novca.

Prošlosti! Ja dođoh tek da se grijem.
Ti i ja uz čaj odigrat ćemo jednu.
Potonulo djetinjstvo je u čamcu.
Što???

Djetinjstvo, velim, potonulo u čamcu.
Sjećaš se, rijeka bijaše bez granita?
Prošlosti! Hajde da gucnemo votke,
I daj mi, molim te, tri karte!

Čuva me obala Berežkovskog,
Carevna Sofija Đavlu se moli,
A četvrti as gorko i pobožno
Kod Moskve-rijeke u zrcalo se gleda!!!

POLINA

Polina – vrućacu moj,
Kad snijeg ljubi – znači, gradi,
A ja, k'o labud mladi
U tebi sam svoj.

Snijeg sipi sred strašne muke.
Snijeg čini se crnim često,
Kao labudi, kad raširе ruke
I slijeću na staro mjesto.

Tek uzdišu babe u uglu,
Lipšu od mraza lako –
Nek valja druga polukugla
Grude čistoga zraka.

I tako nad majkom i ženama,
Kao nad kontinentima žutim,
Lete, klikću, grče se od žala
Preko toplih mora, gdje kraj slutim.

Sve vas napuštamo, babe,
K'o Rusiju što zaziva mraz,
I neka gore u očima staze –
Sve vas napuštamo, babe.

Mi labudi smo, moramo
K peru, peronima, mijeni.
Ne treba nam sutra samo –
Odlazimo u dvadeset dva.

Kad ceste se smrznu,
Vrana u nevolji grca.
Planet diše otocima
Nenastanjenih srca.

Nema novčanika i žena,
Čekaju ruke na sljepoočnicama Ufe,
Kako će pasti misli davnih sjena
Na gornji, plašljiv izdanak strofe.

Dušo moja, topi i žari,
Dvorište budi za bol svaku.
No ako lake žene kašlju,
Ti zadrhtiš kao povik.

Pa ipak si topla i zelena,
I rimom dobro potkovana.
Ja spavam k'o rastreseni Jesenjin,
S Rusijom cijelom pod glavom.

Odavno druga ne posjećujem svojega.
Čas vremena nema, čas snijeg silan …
Gore slike Vereščagina
Te poput pepela lete na divan.

A u blizini s krikom neugašenim
Uz kikot i pljesak
U letu sudbine odlazi Garšin,
Razbivši njušku u pijesak.

Tako krče šumu, ne vjeruju ljetu.
Tako proklinju žene i život.
Rubovi bez jagoda postaju slijepi
Zapušten od vjere čela.

Tako počinju vjerovati nebu
Prodanih očiju, izgorjelih očiju.
Tako se spuštaju do NEP-a
Daroviti podlaci.

A njih odvode prostitutke
U tučnjave, nevolje i ratove.
Njihove usne suho vuku kuje!
Planeto, van s njima! Vjetre, van!

Uz njih mi samo smo roba.
Uz njih nikada nismo mirni.
Mi ubijamo svoje doba,
Kao Grozni vlastitoga sina.

No i tada, da budu svileni,
Da ne naprave nekog kvara,
Gledaju nas Balašovi
S dušom postolarskoga cara.

Da, nas nabrekle i ranjene,
Zadimljene, trpke kao mine,
Ponovno rasipaju na sjene
Nepripremljene sudbine.

Platno trideset sedam sa trideset sedam.
Jednako velika rama.
Mi ne umiremo od raka
Niti od nekakvoga srama.

Mi smo sijači. Kiša će pasti,
U vrt odnijeti kao san,
Gdje plače ljetni Levitan –
Rusiju znaju samo Židovi.

Ti labud si, škanjac, svijetli, slatki,
No mene i tebe, ko prvi otrov,
Čekaju otoci Svete Helene
I progonstvo u vlastito ja.

O, nećemo samo još jednom se znojit
I tijelom misli sladeć
Moliti planet dati patent
Za nečiju zlu genijalnost.

Ja sam Bonaparte, ja sam mart, ja plačem
Za morem kao za čovjekom,
I pred očima crnih prlja
Gušim se hladnim arsenom.

Gospode, spasi me! Smiluj se!
Ta što vam učinih?
Odlazi iz duše pola svijeta,
Duša ide u nečije tijelo!

I evo, već velik, kao snijeg,
Taj vlasnik.
Ne mareć za proljeće,
Polako kopni.

No, on je bogat, on je sajam,
Gdje prodaju tuđe se sudbine.
Zove se monsieur Balzac
I s njim se ne šale.

S njegovim perom odavno se ne može izaći na kraj,
Sto godina ga nisu zaustavljali.
Ah, slava, slava, ženska slaba,
Kakvi vas sve umovi nisu mljeli!

Dolje vaš sud, moja prosječnost!
Ne skrivajte se u ovratniku, nedarovitosti!
Pa kako ne možete bez dame?
I koga će mi vraga tvoja nasljednost!

Mi se gasimo i ne tugujemo
Što u dušu ulaze žaračem.
Kao ive nad mokrom Setunjom,
Buče skuti Gončarovih.

Kad ubijamo srce,
Gdje misli idu kao mladice,
Guše nas ženske, guše ženske –
Tuga, prijevara, laž i podlost.

Brkaju oni karte vremena.
Njihove usne su čvršće nego rešetke.
I mi odlazimo, kao putnici,
U očaj i odrješenje.

O ženske, ženske! Stoljeće pripada vama.
Prvo – za bal. Najprije ste draga.
Zbog vaših grudi ubijen je Puškin.
Da barem sjediš ženo na sidru.

Ah! Jesenjinu poletjevši
Grlom u mast, očima finim,
Ti grliš onoga koji vrši
Za nepoznate, neljubljene.

O, kad biste znale, madone,
Da k Rafaelu se išlo na Uskrs,
Da geniji sjede kao udove,
Oplakujuć strast uzaludnu.

Da geniji sebe ne maze,
Da rukopis im se noćima grije,
Da rugaju se ženama
Kad nisu u stanju ostaviti djelo.

Kada gorušicom muče jelo
I toplo tijelo vuče boje,
Odlazimo u noć od žena i novca
Na mjesečinu platna.

Da, bojiti svijet! Da, krvlju vena!
Zaboravivši prijevare, snove, obećanja,
I umirati iz vijeka u vijek
Na plavim rukama štafelaja.

Polina, puneći me
Paletom uma i radosti,
Ti skrivaš ramena, kao duga,
I na pjesme, kao kiša, osvajaš.

No samo nagneš se kao mak.
Usnama mi u lice opav,
Ja sam, kao vrt, idem do vraga
I beskrajno žalim ženske.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящая книга – первый опыт многоязычного издания Леонида Губанова. Собирая воедино разрозненные тексты автора, недостаточно полно представленного даже на родине, мы не стремились к выработке единого оформительского стиля. Редакторские ножницы в этот раз практически не касались ранее опубликованных стихов, которыми, согласно предчувствию поэта, должны «*зарасти все мальчишки России*». Поэтому встречающаяся произвольность строфического рисунка, авторская пунктуация и непоследовательность при выборе прописных / строчных букв в начале строк не должны смущать читателя. Следует отметить, что и переводчикам зачастую приходилось иметь дело с нелегально переправленными на Запад, неавторизованными текстами, порой содержащими заметные разночтения, искажения. В связи с этим иностранные версии произведений могут отличаться от привычных, знакомых губановским поклонникам по российским изданиям последних лет, иметь усечённый вид, печататься без заголовков, эпиграфов, посвящений. В русскоязычном разделе книги мы постарались воспроизвести более полные варианты произведений. Текстологические нюансы по мере необходимости комментируются ниже.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АС-89 – Губанов, Л. Г. Ангел в снегу: стихотворения / сост. и автор послесл. И. Д. ; замеч. и коммент. Г. Суперфина // Материалы Самиздата / Архив Самиздата; Радио Свобода. – Мюнхен, 1989, 16 янв. – Вып. № 3. – АС № 6330.

АС-94 – Губанов, Л. Г. Ангел в снегу. Стихи / сост. и автор предисл. И. Дудинский. – М. : ИМА-пресс, 1994.

Г – «Грани», Франкфурт-на-Майне.

ИПСП – Губанов, Л. Г. «И пригласил слова на пир…» : Стихотворения и поэмы / сост. И. С. Губановой ; статьи Л. А. Аннинского и А. А. Журбина; коммент. и библиогр. А. А. Журбина. – СПб. : Вита Нова, 2012. – (Рукописи).

МЗ-89 – Мягкий знак: Имперский державный анархизм : семейный альбом / ред. Толстый. – Париж : Вивризм, 1989.

ПНС – Крохин, Ю. Профили на серебре: Повесть о Леониде Губанове. – М. : Обновление, 1992.

РМ – «Русская мысль», Париж.

ЯСМГ – Губанов, Л. Г. «Я сослан к Музе на галеры...» / сост. И. С. Губановой ; предисл. Ю. В. Мамлеева. – М. : Время, 2003. – (Поэтическая библиотека).

Полина (с. 16)

Наиболее известное произведение Л. Губанова, созданное в семнадцатилетнем возрасте и впоследствии неоднократно редактировавшееся. Несмотря на то, что фрагменты поэмы были опубликованы спустя несколько месяцев после написания, аутентичный текст (сохранилась аудиозапись авторского исполнения) стал доступным читательской аудитории лишь в XXI веке. В настоящем издании приведён вариант из *ЯСМГ*, использовавшийся при переводе М. Маурицио. В версии альманаха *МЗ-89* (с. 22–26), с которой переводила И. Лукшич, изъяты стихи 5–9, 30, 31, 140–143; строфа 32-я следует за 29-й; значительные разночтения стихов: 10 – «*Снег сыплет в обморочной муке*», 14 – «*Вот только ахнут бабы в шали*», 29 – «*Мы улетаем в двадцать два*», 39 – «*На ветхий, робкий плот строфы*», 52 – «*А рядом с криком непогашенным*», 83 – «*И не от праздности совсем*», 88 – «*Ты – лебедь, лунь, светла, елейна*», 120 – «*Когда мы сердце убиваем*», 125 – «*Их губы крепче, чем решётки*», 137 – «*Устами в масть, глазами клёвыми*», 149 – «*Что почерк их ночами топится*», 152 – «*Когда изжогой мучат дело*».

«Я беру кривоногое лето коня…» (с. 23)

Печаталось также с заголовком «Серый конь» (*РМ* – 1984. – № 3536. – с. 9), давшим название самиздатскому сборнику поэта. Существуют варианты отдельных строк, в частности, 8-й: «*Выгребая всю мелочь, которая – вечность*»; 16-й: «*даже грусть я себе не куплю*».

Написано в Петербурге (с. 24)

С заголовком «Петербург» публиковалось в *Г* (1968 – № 69), в *ЯСМГ* (с. 318–319), – с посвящением Иосифу Бродскому. В посмертных публикациях встречаются разночтения, в частности последних четырёх строк: «*А рядом, проклиная плети, / Калачик образа достав, / Мои стихи стоят как дети / И ждут весёлого костра!*» (*ПНС* – с. 124).

Любимой вместо оправдания (с. 28)

Публиковалось при жизни поэта в *Г* (1965. – № 59. – С. 30–31) в составе цикла «Нормальный как яблоко». Обращают на себя внимание существенные разночтения. Помимо приведённого в нашем издании:

Стих	*Г*	*ЯСМГ*
4	*большевичками отпоём*	*Колоколами отпоём*
10	*пока потерянное зря*	*Пока подраненное – зря…*
13	*Туда, где сад отпустит когти,*	*Туда, где сад отпустит ногти,*
15	*У каждой родины в колоде*	*У каждой родины в блокноте*
16	*и перемены, и глисты.*	*И поцелуи, и бинты.*
21	*Наверное, я вербой брошен*	*Жить так, оборванным Гаврошем,*
22	*оттуда, где плывут и спят.*	*И преисподню возлюбя,*
24	*накладывая на себя*	*Накладываем – на себя!*

Благодарю (с. 33)

Написано в ночь с 22 на 23 апреля 1968 г. в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Посвящено знакомой поэта – правозащитнице Вере Лашковой (р. 1944), осуждённой с А. Гинзбургом, Ю. Галансковым и А. Добровольским по итогам резонансного политического «Процесса четырёх» (янв. 1968). Иногда в публикациях ошибочно указывается: «Веронике Лашковой». В *ЯСМГ* опубликовано с эпиграфом из Сергея Есенина (4-я и 7-я строфы «Жизнь – обман с чарующей тоскою…»), встречаются также самиздатские варианты с эпиграфом из Михаила Лермонтова: «За всё, за всё тебя благодарю я».

«Мне бы только лист и свет…» (с. 36)

В *ЯСМГ* (с. 177–178) приведён отличающийся вариант стихотворения с заголовком «Шляпа попрошайки».

Заметки на подкладке пальто (с. 50)

В *АС-94* (с. 26–27) опубликовано без посвящения Илье Габаю и первых шестнадцати строк как отдельное стихотворение.

«Когда румяный мой ребёнок…» (с. 52)

В *ЯСМГ* (с. 311–314) опубликовано с заголовком «Вот вам это и ещё» и эпиграфом из «Видения» Роберта Бёрнса.

Русская керамика (с. 55)

Помимо приведённого в нашем издании, в *ИПСП* (с. 292–293) с заголовком «Русская керамика» опубликовано стихотворение «Стерегу лебедей, стерегу…» из самиздатского сборника ранних стихов «Старина».

Дуэль с родиной (с. 59)

Посвящено поэту-правозащитнику Юрию Галанскову (1939–1972), погибшему во время отбывания наказания в лагере строго режима (имя Галанскова встречается также в других произведениях Л. Губанова). Самиздатский вариант заголовка – «Дуэль с родиной, или Мания величия в мании преследования». В *ЯСМГ* (с. 351–355) опубликовано с эпиграфом из Первого соборного послания Иоанна Богослова.

Двухстворчатый складень. XX век. Первая сторона (с. 65)

В *АС-89* (с. 118–119) и *АС-94* (с. 141–143) под заголовком «Первая сторона» со стихотворением «Вторая сторона» («Когда-нибудь настанет время…») образует поэтический цикл «Двухстворчатый складень. XX век».

Распятие с эмалью (с. 67)

В *ЯСМГ* (с. 228–229) под заголовком «Распятие с эмалью» опубликовано также стихотворение «Излишки гордости, как сало прозябанья…», посвящённое художнику Владимиру Пятницкому.

Зеркальные осколки (с. 71)

В *АС-89* (с. 128–129) и *АС-94* (с. 154–156) публиковалось как цикл, состоящий из двух стихотворений: «Меня будут называть антихристом в апреле…» и «О, родина, любимых не казни…», что представляется оправданным, ввиду различной ритмики двух частей.

«Ни с того ни с сего…» (с. 74)

Распространён также усечённый вариант стихотворения: из первых двух строф.

«На последней песне я умру…» (с. 88)

В *РМ* (1983. – № 3485. – с. 8) в качестве отдельного текста опубликован отрывок из первых двенадцати строк стихотворения.

«Я отправил себя в опалу…» (с. 92)

В *ЯСМГ* (с. 558) приводится вариант с иной концовкой: *«Не стреляйтесь, теперь, поэты! / Это лишнее, словно – жир!»*

БИБЛИОГРАФИЯ ЛЕОНИДА ГУБАНОВА: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ[1]

1. Губанов, Л. [Стихи] // Грани. – Франкфурт-на-Майне, 1965. – № 59. – С. 28–32.

2. Губанов, Л. Стихотворение о брошенной поэме : [стихи] // Грани. – Франкфурт-на-Майне, 1966. – № 61. – С. 18–19.

3. Gubanov, L. The Artist : [poem] // The New Russian Poets 1953–1966 : An Antology / Selected, Edited and Translated by George Reavey. – New York : October House Inc., 1966. – P. 235–237. – Рус., англ.

4. Gubanov, L. Giorno Quattro : [poesia] // Da riviste clandestine dell'U.R.S.S. Testi letterari e poesie. – Milano: Jaca Book, 1966. – P. 210–213. – Итал., рус.

5. Губанов, Л. Петербург : [стихи] // Грани. – Франкфурт-на-Майне, 1968. – № 69. – С. 107–108.

6. Gubanov, L. The Artist : [poem] // The New Russian Poets 1953–1968 : An Antology / Selected, Edited and Translated by George Reavey. – New York : October House Inc., 1968. – P. 235–237. – Рус., англ.

7. Губанов, Л. Преклонив колени : [стихи] // Время и мы. – Тель-Авив, 1977. – № 21. – С. 86–91.

8. Губанов, Л. [Стихи] // Аполлонъ-77 : альманах / сост. М. Шемякин и К. Кузьминский. – Париж, 1977. – С. 184–185.

9. Губанов, Л. Победителей не судят : [стихи] // Время и мы. – Тель-Авив, 1978. – № 26. – С. 93–100.

10. Губанов, Л. Стихотворение о брошенной поэме : [стихи] // Грани. Сб. № 5 : №№ 53–63 [дайджест]. – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1978. – С. 21–22.

11. Gubanov, L. Giorno Quattro : [poesia] // La primavera di Mosca. Le riviste dattiloscritte sovietiche degli anni '60: prosa, poesia, impegno civile agli inizi del dissenso. – Milano: Jaca Book, 1979. – P. 85–87. – Итал.

12. Четыре стихотворения Леонида Губанова : [стихи] // Русская мысль. – Париж, 1983, 6 окт. – № 3485. – С. 8.

13. Губанов, Л. [Стихи] // Русская мысль. – Париж, 1984, 27 сент. – № 3536. – С. 9.

14. Губанов, Л. [Стихи] ; предисл. И. Дудинского // Мулета Б.: Семейный альбом. – Париж, 1985. – С. 11–37.

15. Губанов, Л. [Стихи] // Русская мысль. – Париж, 1987, 25 дек. – № 3705. – С. 12.

[1] С другими библиографиями можно ознакомиться на «Сайте поэта Леонида Губанова»: http://gubanov.aspu.ru, разработанном в Астраханском государственном университете.

16. Губанов, Л. «И подмигивает факел в винном погребе удачи…» : [стихи] // Стрелец : ежемесячный журнал литературы, искусства и общественно-политической мысли. – Джерси-Сити, Нью-Йорк, 1988, февраль. – № 2. – С. 1, 7–9.

17. Goubanov, L. [Poèmes] ; traduit par Christine Zeytounian-Beloüs // LRS – Lettres Russes – Paris, 1988, octobre. – № 4. – P. 58–59, 105. – Фр., рус.

18. Губанов, Л. Волчьи ягоды : [стихи] // Грани. – Франкфурт-на-Майне, 1988. – № 150. – С. 48–53.

19. Губанов, Л. Ангел в снегу: стихотворения ; сост. и автор послесл. И. Д[удинский] ; замеч. и коммент. Г. Суперфина // Материалы Самиздата / Архив Самиздата; Радио Свобода. – Мюнхен, 1989, 16 янв. – Вып. № 3. – АС № 6330. – 180 с.

20. Goubanov, L. Poèmes ; traduit par Christine Zeytounian-Beloüs // Europe. – Paris, 1989, juin–juillet. – №. 722–723. – P. 118, 143. – Фр.

21. Губанов, Л. Полина : [стихи] ; предисл. Дуды [И. Дудинского] // Мягкий знак: Имперский державный анархизм : семейный альбом / ред. Толстый [псевд. В. Котлярова]. – Париж : Вивризм, 1989. – С. 22–26.

22. Губанов, Л. На смерть Бориса Пастернака : [стихи] // Русская мысль. – Париж, 1990, 16 февр. – № 3815.– С. 9.

23. Gubanov, L. «The eyelashes flap like oars…» : [poem] ; translated by Ivan Burkin // «A collection of New Writing from Moscow to San Francisco», Five Fimgers Review – San Francisco, 1990, August. – № 8/9. – P. 92. – Англ.

24. Губанов, Л. Стихи // Слог: Иерусалимский вестник культуры. – Иерусалим, 1993. – № 1. – С. 3–10.

25. Губанов, Л. Двобој са домовином : [песме]; превела Конелија Ичин // Руски Алманах. – Сремски Карловци, 1993. – № 03–04. – С. 162–176, 345. – Серб.

26. Gubanov, L. [Poems] ; translated [into English] by Bradley Jordan // Twentieth century Russian poetry: silver and steel : an anthology / ed. by Y. A. Yevtushenko ; translated into English by Albert Todd; Max Hayward. – New York : Doubleday, 1993. – P. 993–994.

27. Gubanov, L. [Poems] ; translated [into English] by Bradley Jordan // Twentieth century Russian poetry / Selected and introduction by Y. Yevtushenko; Edited by Albert Todd and Max Hayward (with Daniel Weissbort). – London : Fourth Estate Limited, 1993. – P. 993–994.

28. Goubanov, L. Poèmes ; traduit par Christine Zeytounian-Beloüs // LRS – Lettres Russes – Paris, 1995, juillet. – № 17. – P. 45–48, 61–63. – Фр., рус.

29. Губанов, Л. [Стихи] ; предисл. В. Алейникова // Византийский ангел. – Киев, 1997. – № 3. – С. 61–63.

30. Губанов, Л. Нормальный как яблоко. Из книги стихов 1965 года ; послесловие В. Батшева // Литературный европеец. – Франкфурт-на-Майне, 1998. – № 6. – С. 37–39.

31. Gubanov, L. [Poezija] // Nova ruska poezija / uvod, izbor i prijevod Irena Luksic. – Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1998. – S. 134–135. – Рус., хорв.

32. Губанов, Л. Преклонив колени : [сб. стихов] // Младенец вечности – ночники поехавших крыш. Многотомник космической поэзии и прозы в 10 т. : [архив] / Сергей Шапкин. – Мариуполь: ЗАО «Газета "Приазовский рабочий"». – 2001. – Т. 8. – С. 715–771.

33. Gubanov, L. [Poezija] ; prijevod Irena Lukšić // Nova Istra – Pula, 2002. – № 2–3. – S. 135–141. – Хорв.

34. Губанов, Л. Стихи 1963–1964 года ; предисл. ВлБ [В. Батшева] // Мосты. – Франкфурт-на-Майне, 2004. – № 1. – С. 323–332.

35. Gubánov, L. [Poesía] / Traducciones de Jorge Bustamante García // «Poesía rusa en el cruce de dos siglos», Alforja Revista de Poesía. – Mexico, 2004, otoño. – № XXX. – P. 28. – Исп.

36. Губанов, Л. [Песме] ; прев. Міодраг Сібінович, Конелија Ичин // Антологија руске лирике : крај X – почетак XXI века / избор и белешке о писцима Миодраг Сибиновић ; прев.: Миливоје Бањовић [и др.]. – Београд : Paideia, 2007. – Књ. 3: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). – С. 161–166. – Серб.

37. «Je sais qu'on m'a mis de côté pour plus tard...»: Leonid Goubanov (1946-1983) // Chmelkova Natalia. Dans le ventre de ma belle-mère / traduit du russe et annoté par Anne-Marie Tatsis-Botton (prose) et Christine Zeytounian-Beloüs (poésie). – Paris : Anatolia. – 2007. – P. 131–188. – Фр.

38. Gubanov, L. [Poezija] // Šezdesete – The Sixties : zbornik / priredila Irena Luksic. – Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2007. – S. 270–276. – Хорв.

39. Maurizio, M. Leonid Gubanov: Miti e dolorose utopie (traduzione e introduzione) // Poesia. – Milano, 2007, Giugno. – № 217. – P. 66–72. – Итал.

40. Губанов, Л. «Платно 37 на 37…» : [стихотворение] // Костова-Панайотова Магдалена. Руският поетически авангард през XX век: теория и практика. – Благоевград : Университетско издателство на Югозападния университет «Неофит Рилски», 2010. – С. 266. – Болг.

СОДЕРЖАНИЕ

Журбин А. За периметром границ и языка 3

Произведения Леонида Губанова

Полина. *Поэма* 16 95 180

«Я – Дар Божий, я дай боже нацарапаю…» 22 98

Серый конь *(«Я беру кривоногое лето коня…»)* 23 102 111

Написано в Петербурге *(«А если лошадь, то подковы…»)* 24 167

«Я – та окраина, где вы…» 26 101

«Над красной Москвою белые кони звёзд…» 27 99

Любимой вместо оправдания *(«Ещё и губ не выносили…»)* 28 116 155

Бандероль священно любимому *(«Молись, гусар,*

пока крылечко алое…») 30 115

Перистый перстень *(«Этой осенью голою…»)* 31 164

Палитра скорби *(«Я провёл свою юность по сумасшедшим домам…»)* 32 107 113

Благодарю *(«Благодарю за то, что я сидел в тюрьме…»)* 33 112 163

«Там, где ветер дипломат…» 34 166

«Я буду править миром мрака…» 35 100

«Мне бы только лист и свет…» 36 142

Накануне *(«Я помолился голубейшим ликам…»)* 38 138

«Без повеления любви…» 39 103

Заклинание *(«Я в окружении тебя…»)* 41 157

«Сиреневый кафтан моих обид…» 43 160

«Глаз ваших луг вечнозелёный…» 44 108

Прелюдия для левой руки *(«Спасибо вам за гонор кирпичей…»)* 46 114 161

«Мои губы – багряной улочкой…» 47 159

«Я с тем ещё здоровьем…» 48 135

Новогодняя открытка *(«И туча остановится…»)* 49 136
Заметки на подкладке пальто *(«Прибита Троицкая Лавра…»)* 50 165
«Когда румяный мой ребёнок…» 52 139
Русская керамика *(«Есть где-то земля, и я не боюсь её имени…»)* 55 169
Акварель сердцам невинным *(«Души безумной рваные коленки…»)* 57 118
Дуэль с родиной *(«В сентябре вода прибывает…»)* 59 171
Чаевые чёрной розы *(«Прошлое! Пусти меня, пожалуйста, на ночь!..»)* ... 63 178
Двухстворчатый складень. XX век. Первая сторона *(«Церковь не умеет летать…»)* 65 123
Распятие с эмалью *(«Когда-нибудь настанет время…»)* 67 105
Первая клятва *(«И буду я работать, пока горб…»)* 69 121 153
Зеркальные осколки *(I. «Меня будут называть антихристом в апреле…»; II. «О, родина, любимых не казни…»)* 71 127
«Скупцы, зловещие подонки…» 73 128
«Ни с того ни с сего…» 74 129
Береста отречения *(«За пять минут бархата я уже успел дойти до самоубийства…»)* 75 145
Этюд на хуторе грусти *(«Мой буфет носит стеклянные волосы…»)* 76 146
Каприз по осени считают *(«Иди сюда, мой раб! Мой котёнок…»)* 77 147
«Над питейным домом…» 78 130
Шалаш настроения *(«Всё будет у меня – и хлеб, и дом…»)* 79 144
«Природа плачет по тебе…» 80 131
«Задыхаюсь рыдающим небом…» 81 132
«Что ангел мой родной мне пишет?..» 85 125 174
«Я тебя забываю…» 87 148
«На последней песне я умру…» 88 149
«Я сам изгой, но не предатель…» 90 177
«Ресницы взмахивают вёслами…» 91 150
«Я отправил себя в опалу…» 92 162

Переводы на итальянский М. Маурицио

Dal poema «Polìna» *(frammento)* 95
«Sono un dono divino, i miei scarabocchi a aizzare…» 98
«I bianchi cavalli degli astri su Mosca la bella s'innalzano…» 99
«Io comanderò delle tenebre il regno…» 100
«Io sono i sobborghi ove sono cadute…» 101
«Del cavallo afferro l'estate con le zampe storte…» 102
«Senza aspettare ordinanze da amore…» 103
Crocifissione a smalto *(«Un giorno verrà il tempo ed il pennello del vostro giardinetto…»)* 105
Una tavolozza d'angoscia (*«Ho trascorso la mia gioventù dentro case di pazzi…»)* 107
«Il prato sempreverde dei Suoi occhi…» 108

Переводы на французский К. Зейтунян-Белоус

«Je prends l'été aux jambes torses du cheval…» 111
Merci *(«Merci de m'avoir fait connaître la prison…»)* 112
La Palette du chagrin (*«J'ai passé ma jeunesse dans des maisons de fous…»)* 113
Prélude pour la main gauche *(«Merci pour l'orgueil des briques…»)* 114
Envoi postal à l'objet d'un amour sacre *(«Prie hussard, tant que le seuil est rouge…»)* 115
A ma bien aimée en guise de justification *(«Avant même la levée des lèvres…»)* 116
Aquarelle des coeurs innocents *(«Genoux blessés d'une âme folle…»)* 118
Premier Serment *(«Je travaillerai à devenir bossu…»)* 121
Diptyque pliant XXe siecle. Premier volet *(«L'église ne connaît pas l'envol. Elle ne sait pas voler…)* 123
«Que m'écrit mon cher ange?..» 125
Eclats de miroir *(«Patrie, épargne ceux qui sont aimés…»)* 127
«Avares, salauds malfaisants…» 128
«On ne sait pourquoi…» 129
«Au dessus du débit de boissons…» 130
«La nature pleure sur toi…» 131
«J'étouffe de ciel sanglotant…» 132
«Avec la même santé…» 135
Carte du Nouvel An *(«Le nuage noir s'arrêtera…»)* 136
A la veille *(«J'ai prié des visages très bleus…»)* 138

«Lorsque mon enfant aux joues rouges…» 139
«Je voudrais du papier, de la lumière…» 142
La Hutte d'humeur *(«J'aurai tout, pain, maison…»)* 144
L'Écorce du reniement *(«En cinq minutes de velours…»)* 145
Étude dans le hameau de la nostalgie *(«Mon buffet porte des cheveux de verre…»)* 146
Caprice qu'on denombre à l'automne *(«Viens, mon esclave!..»)* 147
«Je t'oublie...» 148
«A mon dernier chant je vais mourir…» 149
«Les cils font force de rames…» 150

Переводы на сербский К. Ичин

Прва заклетва *(«Ја нећу престати са радом, док…»)* 153
Вољеној уместо оправдања *(«Ни усне нису испратили…»)* 155
Бајалица *(«Ја сам у опсадама тебе…»)* 157
«Моје су усне к'о пурпурна улица…» 159
«Изношен модрих увреда огртач...» 160
Прелудијум за леву руку *(«Благодарим за дичне цигле голе…»)* 161
«У немилост себе гурнух…» 162
«Захваљујем за то, што затвор ме заплени…» 163
Перјани прстен *(«Ове јесени припите…»)* 164
Белешке на постави капута *(«...Ал' све док трубе…»)* 165
«Где је ветар амбасадор…» 166
Написано у Петербургу *(«Не коња – потковице звук…»)* 167
Руска керамика *(«Далеко је земља од које ћу узети име…»)* 169
Двобој с домовином *(«У септембру вода надолази…»)* 171
«Шта мени анђео мој пише?..» 174

Переводы на хорватский И. Лукшич

«Ja sam ništa, što se tu može…» 177
Napojnica crne ruže *(«Prošlosti! Pusti me, molim te, preko noći…»)* 178
Polina. *Pjesma* 180

Примечания 185
Библиография 189

Литературно-художественное издание

Губанов Леонид Георгиевич

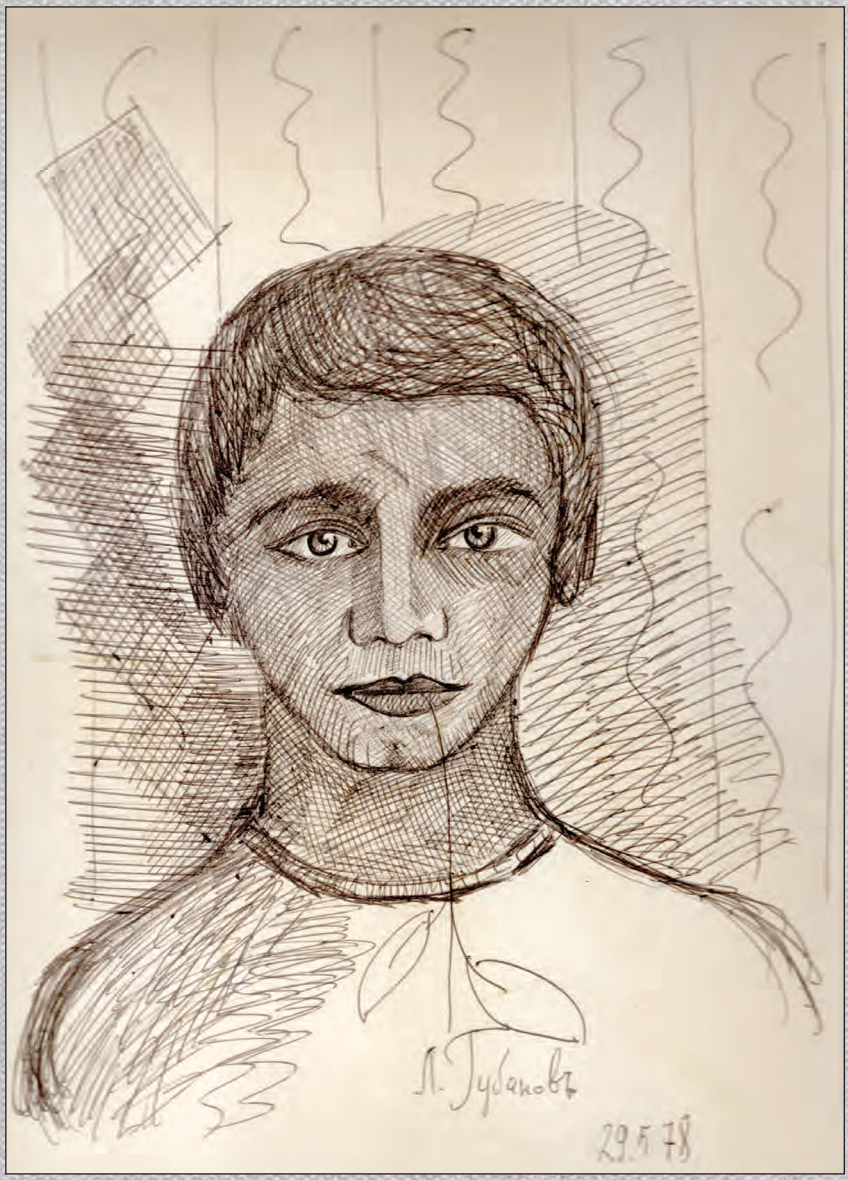
«МЕНЯ ИЩУТ КАК РЕДКИЙ ЦВЕТОК...»

Сборник произведений с переводом на итальянский, французский, сербский и хорватский языки

Редактор-составитель *Андрей Журбин*
Компьютерная вёрстка, дизайн *Ивана Плигина*
Корректор *Дарья Лозинская*

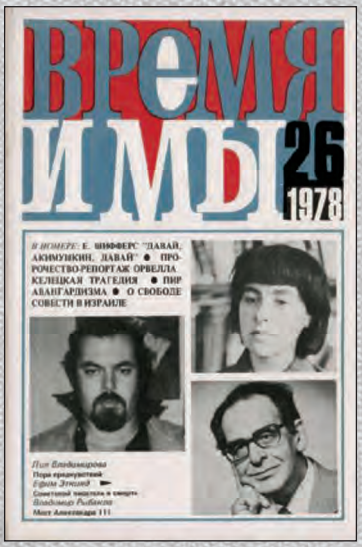
ISBN 978-5-98604-694-5

Подписано в печать 07.11.2018. Формат 70x90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объём 14,33 усл. печ. л. Тираж 350 экз.
Отпечатано в типографии издательства «ПРОБЕЛ-2000».
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 91, стр. 4
Тел. (495) 287-06-19; e-mail: probel-2000@mail.ru

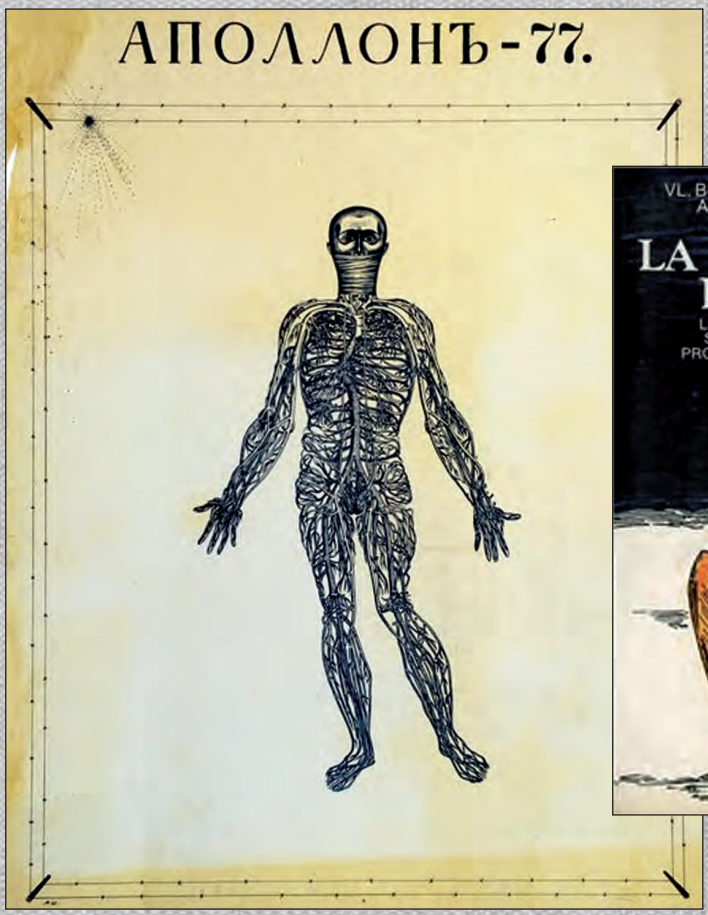


I. Автопортрет Леонида Губанова

II–III. Прижизненный тамиздат


ВРЕМЯ И МЫ
26
1978
В НОМЕРЕ: Е. ШИФФЕРС "ДАВАЙ, АКИМУШКИН, ДАВАЙ" ● ПРОРОЧЕСТВО-РЕПОРТАЖ ОРВЕЛЛА КЕЛЕЦКАЯ ТРАГЕДИЯ ● ПИР АВАНГАРДИЗМА ● О СВОБОДЕ СОВЕСТИ В ИЗРАИЛЕ

ВРЕМЯ И МЫ
21
1977
В ЭТОМ НОМЕРЕ: ОПЫТ В ДЕТЕКТИВНОМ ЖАНРЕ ● ПРАВДА О ДЕКАБРИСТАХ ● ЦВЕТ ВРЕМЕНИ У ИСААКА БАБЕЛЯ


АПОЛЛОНЪ-77.

VL. BUKOVSKIJ, JU. GALANSKOV
A. GINZBURG, VL. OSIPOV
A. SINJAVSKIJ E ALTRI
LA PRIMAVERA DI MOSCA
LE RIVISTE DATTILOSCRITTE SOVIETICHE DEGLI ANNI '60
PROSA, POESIA, IMPEGNO CIVILE
AGLI INIZI DEL DISSENSO

ISSN 0177-5332

RFE-RL

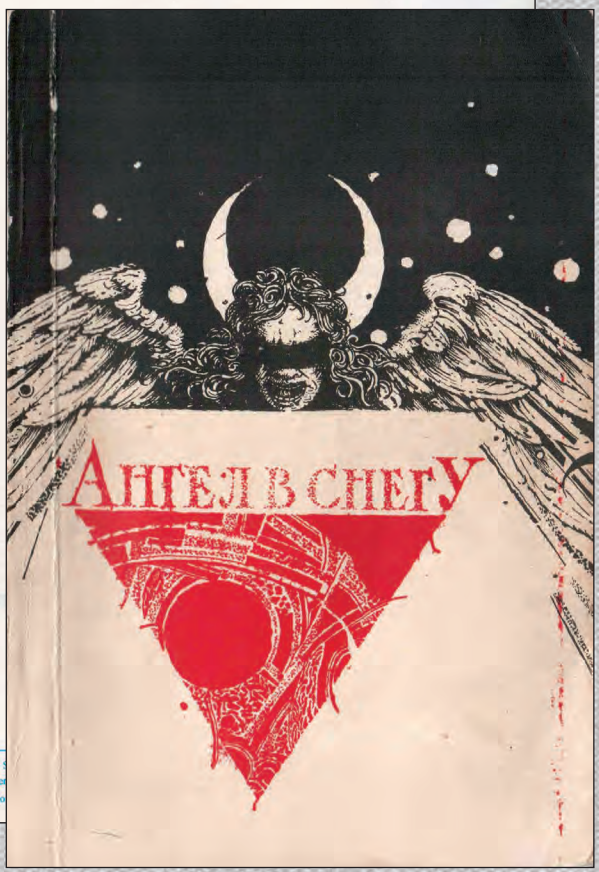
Архив Самиздата • Радио Свобода

МАТЕРИАЛЫ САМИЗДАТА

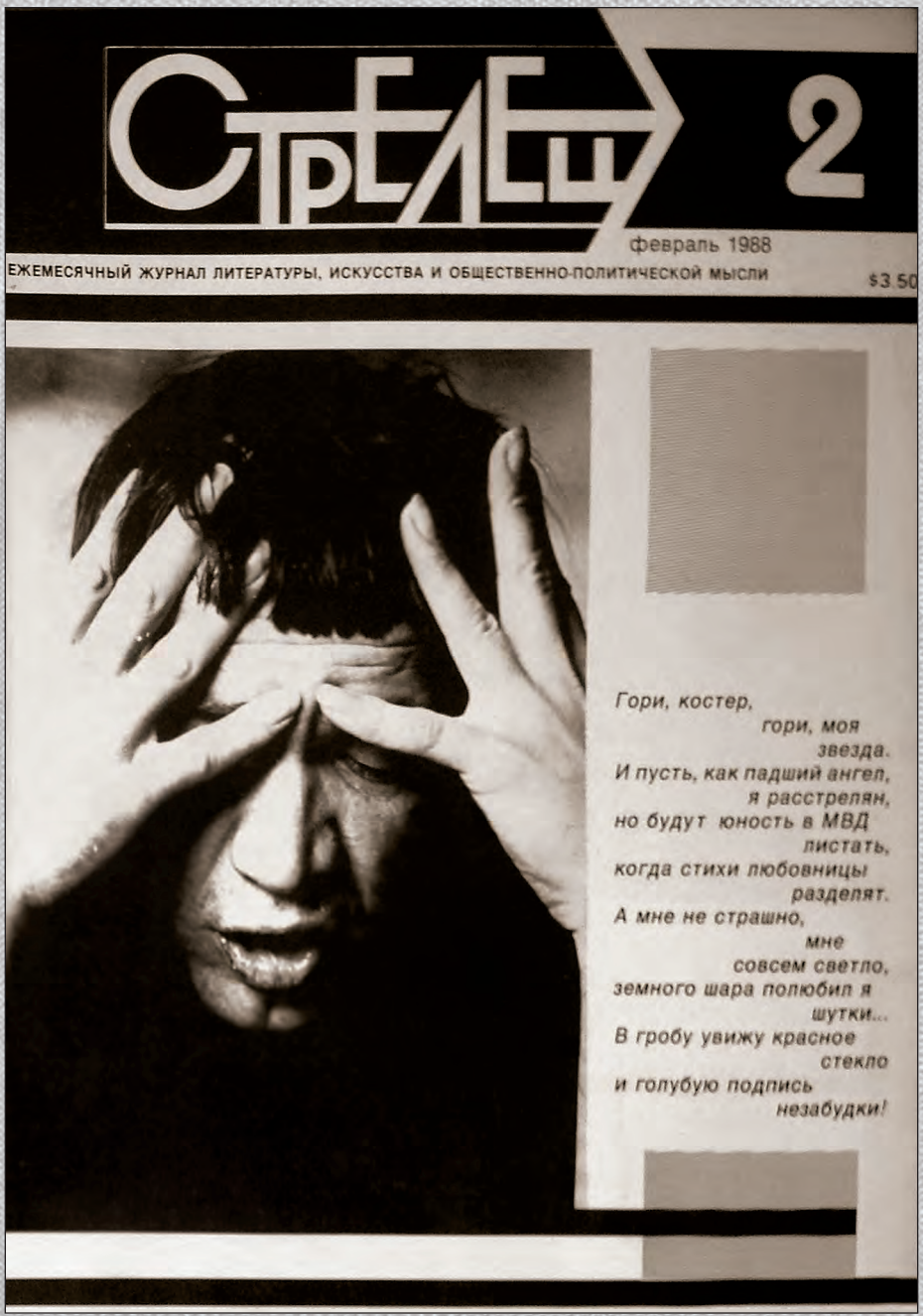
Выпуск №3/89 16 января 1989 г.

АС №№		стр.
6330.	Леонид Губанов. "Ангел в снегу". Стихотворения. Составитель и автор послесловия - И.Д., Москва, декабрь 1983. d.i. Igor' Dudinskij	180

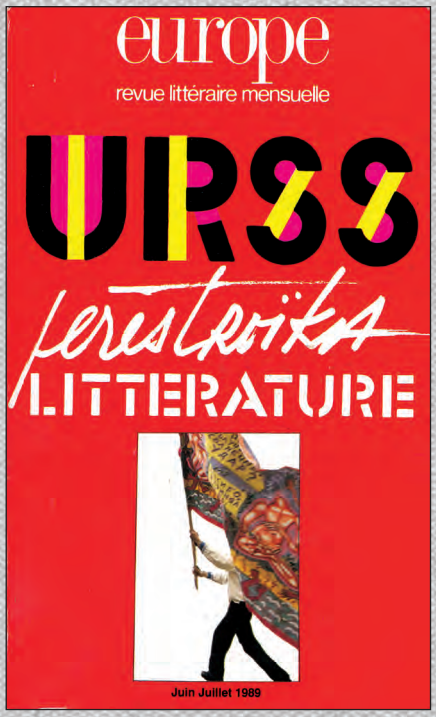
The attached documents have been received and processed by the
of RFE-RL, Inc. In this form they may also be made available to inte
for further disseminatio

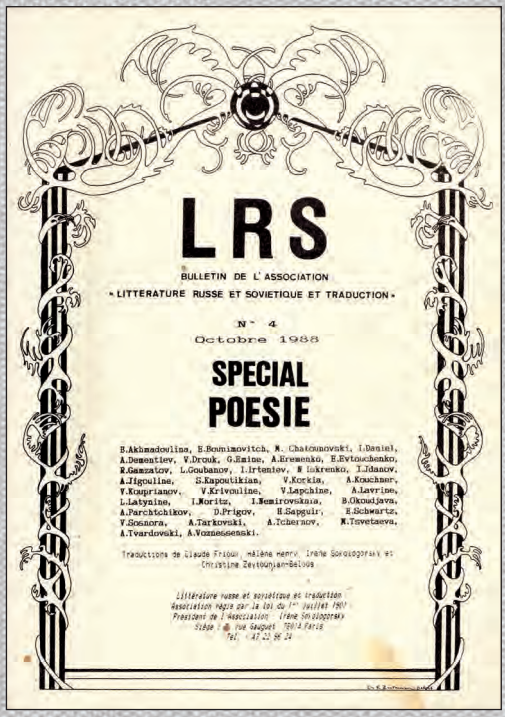


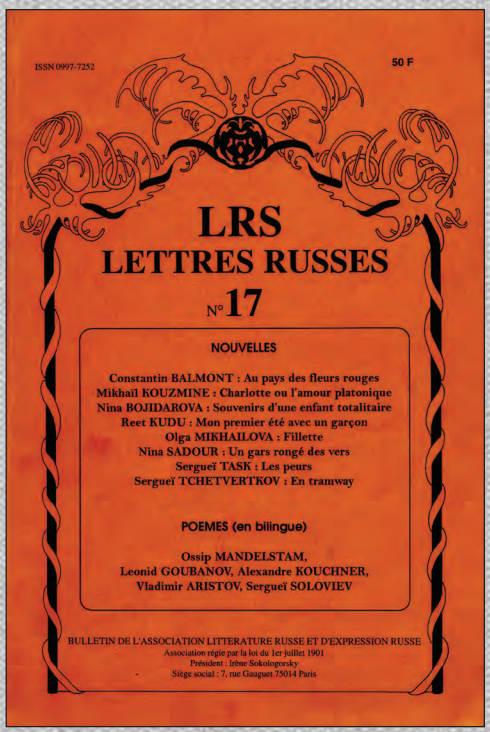
IV. «Ангел в снегу», мюнхенский и московский сборники



V–XI. Зарубежные издания 1985–2007 гг.

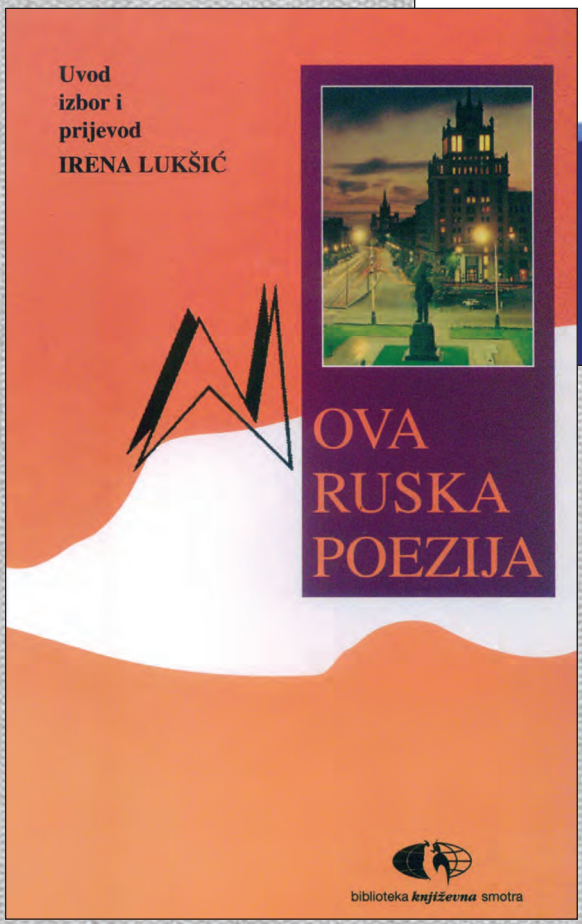

europe
revue littéraire mensuelle
URSS
perestroïka
LITTERATURE
Juin Juillet 1989


LRS
BULLETIN DE L'ASSOCIATION
« LITTERATURE RUSSE ET SOVIETIQUE ET TRADUCTION »
N° 4
Octobre 1988
SPECIAL
POESIE
B.Akhmadoulina, B.Bounimovitch, M. Chatounovski, I.Daniel, A.Dementiev, V.Drouk, G.Eraine, A.Eremenko, E.Evtouchenko, R.Gamzatov, L.Goubanov, I.Irtenlev, N Iakrenko, I.Idanov, A.Jigouline, S.Kapoutikian, V.Korkia, A.Kouchner, V.Kouprianov, V.Krivouline, V.Lapchine, A.Lavrine, L.Latynine, I.Moritz, I.Nemirovskaia, B.Okoudjava, A.Parchtchikov, D.Prigov, H.Sapguir, E.Schwartz, V.Sosnora, A.Tarkovski, A.Tchernov, M.Tsvetaeva, A.Tvardovski, A.Voznessenski.
Traductions de Claude Frioux, Hélène Henry, Irène Sokologorsky et Christine Zeytounian-Belous
Littérature russe et soviétique et traduction
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Président de l'Association : Irène Sokologorsky
Siège : 7, rue Gauguet 75014 Paris
Tél. : 47 22 96 24


ISSN 0997-7252
50 F
LRS
LETTRES RUSSES
N°17
NOUVELLES
Constantin BALMONT : Au pays des fleurs rouges
Mikhaïl KOUZMINE : Charlotte ou l'amour platonique
Nina BOJIDAROVA : Souvenirs d'une enfant totalitaire
Reet KUDU : Mon premier été avec un garçon
Olga MIKHAILOVA : Fillette
Nina SADOUR : Un gars rongé des vers
Sergueï TASK : Les peurs
Sergueï TCHETVERTKOV : En tramway
POEMES (en bilingue)
Ossip MANDELSTAM,
Leonid GOUBANOV, Alexandre KOUCHNER,
Vladimir ARISTOV, Sergueï SOLOVIEV
BULLETIN DE L'ASSOCIATION LITTERATURE RUSSE ET D'EXPRESSION RUSSE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Président : Irène Sokologorsky
Siège social : 7, rue Gauguet 75014 Paris

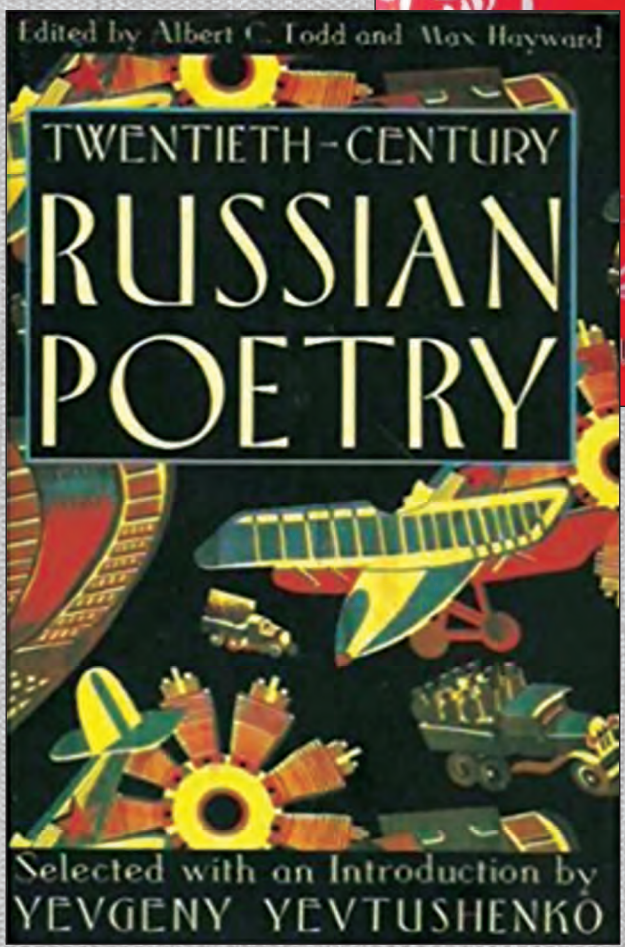
МУЛЕТА
Б

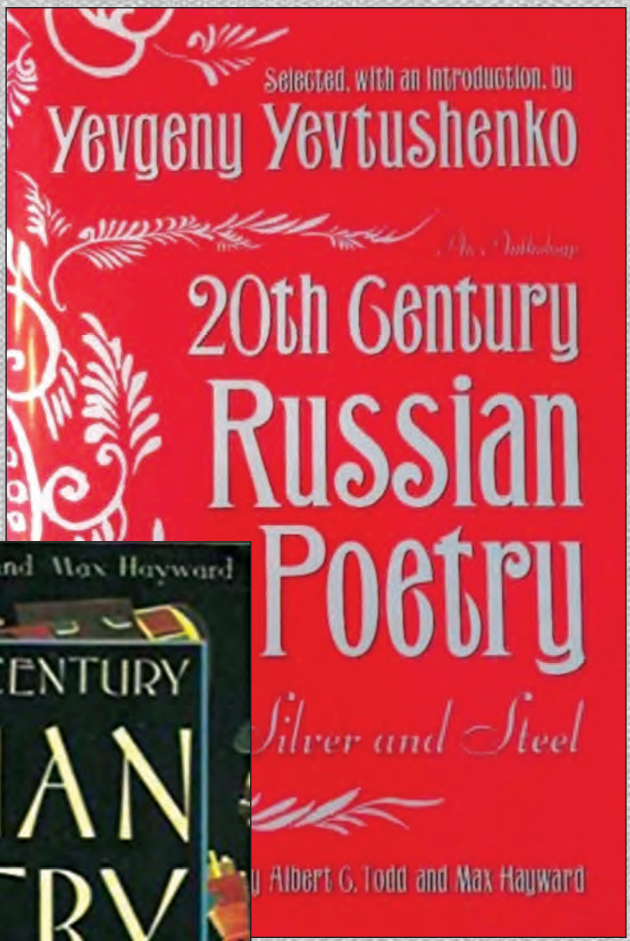
ŠEZDESETE
THE SIXTIES


Uvod
izbor i
prijevod
IRENA LUKŠIĆ
OVA
RUSKA
POEZIJA
biblioteka književna smotra

1993 БРОЈ 03/04
РУСКИ
ЛЕОНИД ДОБИЧИН
ВАСИЛИЈ РОЗАНОВ
МИХАИЛ КУРАЈЕВ
ЈУЗЕФ ЧАПСКИ
ДАНИЛ АНДРЕЈЕВ
ОЛЕГ БАЗУНОВ
ЛЕОНИД ГУБАНОВ
СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИ
ЕРНЕСТ РОБЕРТ КУРЦИЈУ
ОЛГА СЕДАКОВА
ВЈАЧЕСЛАВ ПЈЕЦУХ
ЗУФАР ГАРЕЈЕВ
СЕРГЕЈ КАЛЕДИН
КЊИЖЕВНО ДРУШТВО ПИ

АНТОЛОГИЈА
РУСКЕ ЛИРИКЕ
крај X – почетак XXI века
књига III
Средина XX – поч. XXI века
(неомодернизам, неоавангарда,
постмодернизам и нова трагања)
избор и белешке о писцима
МИОДРАГ СИБИНОВИЋ
ПАІДЕІА


Edited by Albert C. Todd and Max Hayward
TWENTIETH-CENTURY
RUSSIAN
POETRY
Selected with an Introduction by
YEVGENY YEVTUSHENKO


Selected, with an Introduction, by
Yevgeny Yevtushenko
20th Century
Russian
Poetry
Silver and Steel
Albert C. Todd and Max Hayward

СЕРГЕЙ ШАПКИН
/ СЕРГИЙ АЗ ГУР/
НОЧНИКИ
ПОЕХАВШИХ
КРЫШ

NOVA
ISTRA

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЪТАМ
alforja
XXX
REVISTA DE POESÍA
Otoño 2004

NATALIA CHMELKOVA
Dans le ventre
de ma belle-mère
ANATOLIA

Византийский Ангел

'97

POESIA 217

Mensile internazionale di cultura poetica
Anno XX Giugno 2007 N. 217 € 5,00

Jorie Graham
Il sogno della ragione

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

В НОМЕРЕ:

Леонид ГУБАНОВ
ПОЭЗИЯ ПРОКЛЯТОГО МИРА

Джон БЕННЕТ
ВОСПОМИНАНИЯ О ГУРДЖИЕВЕ И УСПЕНСКОМ
(Глава из автобиографии)

Глеб ДЕНИСОВ
МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ

Лоуренс АРАВИЙСКИЙ
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ПРИНЦИПОВ

Исраэль МАЛЕР
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ

СЛОВО

XII. Афиша презентации сборника воспоминаний «Про Лёню Губанова», выпущенного в издательстве «Пробел-2000», и открытия выставки «Акварели Леонида Губанова». Государственный литературный музей, 11 июля 2016 г.